



Макс Далин

Убить некроманта

Далин М.

Убить некроманта / М. Далин —

Что думает герой, отправляясь на битву со злодеем, всем давно известно. А что в это время думает злодей? Темный властелин? Тот самый, кого мечтают убить бесчисленные рыцари? Жестокий тиран. Командир мертвых легионов. Коварный интриган. Безжалостный убийца. Извращенец и насильник. Он вообще думает о чем-нибудь? Он – черный маг на троне. Он ночами строит козни и совершает чудовищные обряды. Он мечтает о чужих землях. Он водит шашни с выходцами из преисподней. Он – Дольф Некромант. О чем он может думать? В этой книге он расскажет об этом сам.

Содержание

***	5
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Макс Далин

Убить некроманта

Изначально некромантией называлось гадание с использованием трупа. Позднее некромантами стали именовать магов, имеющих власть в Царстве Мертвых.

– В очередь, сукины дети! В очередь!..
Михаил Булгаков. Собачье сердце

Способности к некромантии, говорят, похожи на музыкальный слух. Пожалуй.

Некоторые неистово хотят быть певцами и музыкантами, зовут учителей, платят им по золотому в час, тратят уйму времени и море сил, чтобы выжать из лютни или флейты хоть сколько-нибудь гармоничный звук, – и без толку. Терзание чужих ушей. А их лакей напевает, перетирая тарелки, – и прохожие за окном останавливаются послушать. Дар свыше.

Ничего не поделаешь.

Так и некромантия... Некоторые вылезают из кожи, запираются в башнях, исходят на нет, заучивают наизусть целые тома, предлагают душу – а в результате получают припахивающий серой дымок из жиденькой пентаграммы. Чихнул – и нет его. А меня этому никто не учил – просто Дар и все. Не такой изящный, как музыкальная одаренность, но это уж – чем богаты, тем и рады.

Я – интуитивный некромант, сколько себя помню. Дивное качество для отпрыска королевской фамилии, как подумаешь...

Родители что-то такое с самого начала подозревали, я полагаю. Ребенком я был... н-да-с...

Говорят, черные родинки – клеймо Тех Самых Сил. Очень может быть. Такая родинка у меня есть – под носом. Этакая роковая мушка.

Обычно выглядит очень миленько. Придает лицу некий шарм. И, как правило, не вызывает желания протыкать ее раскаленной иглой на предмет проверки. Но не в моем случае.

Не те у меня черты лица. Мою – проверяли. И пришли к неутешительным выводам. Не ошиблись.

Спасибо, что не удушили в колыбели. Добрые у меня были родители и блюдушие традиции. Как можно пролить кровь королевского чада, даже если она проклятая? Невозможно.

Мое скромное везение.

Правда, не могу похвастаться жаркой родительской любовью. Но сердцу не прикажешь.

Мне еще семи лет не исполнилось, когда я спровадил к праотцам своего гувернера. Когда он десятый раз врезал мне линейкой по пальцам. Просто – одним сильным желанием сделать так, чтобы его не было. Первый случай всплеска Дара, бессознательный еще, но желание, похоже, оказалось очень уж сильным.

Но когда я смотрел, как он корчится, как у него глаза вылезают из орбит и все такое, – я не наслаждался, нет, не верьте слухам. Я принял к сведению. И отец принял к сведению. Во всяком случае, сечь меня поостерегся, несмотря на отчаянно чешущиеся руки.

Мне это понравилось. Интересно, много бы нашлось таких, кому бы не понравилось?

Через год все мое семейство меня... скажем так, опасалось. И дельно. Я не проверял Дар на кошках – ничего против кошек не имею. Мухи, пауки – да, это было, я их не люблю. Потом

– маменькина отвратительная моська. Как итоговый опыт – папенькин камер-лакей (я всегда совмещал приятное с полезным).

Потом за меня взялись всерьез, так что опыты пришлось бросить – на людях, по крайней мере. А на будущее я решил пользоваться Даром только по важным поводам. Тогда еще мне казалось, что он быстро иссякает, долго восстанавливается, а хотелось всегда быть в боевой готовности. Но тема вообще очень заинтересовала: стал читать запоем. Папенькин библиотекарь не хотел меня впускать в ту залу, где хранились книги о некромантии и о черной магии, – пришлось сжечь его канарейку. Впустил, хоть и наябедничал отцу.

Я иллюзий не питаю. Я рос маленьким безобразным гаденышем. Но – умным. Я читал и наблюдал, читал и наблюдал. И все, что прочитывал или видел, принимал к сведению.

Я много видел. Мой папенька король не знал о своем дворе того, что уже знал я. Кто подличает за сладенький кусок, а за глаза поливает грязью, кто ворует, кто продается – я рано начал понимать. Папенька не понимал, ему такие углубленности ни к чему. Папенька был обожаемый монарх. Гуго Милосердный – так его в народе окрестили.

Гуго Старый Идиот, я бы сказал.

Он жил по заповедям, мой батюшка. Насчет прощения врагов, старинного родового рыцарского кодекса и насчет того, что, мол, народ должен благоденствовать, а король – жить в развлечениях и роскоши. Ну да!..

Его обворовывали все, кому не лень, а ему и в голову не приходило проверять своих верных вассалов. Вассалы же им восхищались. Он свалил всю свою работу на казначея и премьеря, сам охотился и отплясывал на балах.

Междугорье было в долгу как в шелку; на границах вечно происходили стычки. Соседи обещали военную помощь – и надували, зато присылали подарки вроде пары белых единорогов, тварей милых, но не стоящих и эскадрона драгун. В очередной локальной войнушке с государем Перелесья батюшка потерял провинцию, прослезился и сказал: «На все Божья воля».

Народ жил впроголодь – пуд муки стоил ползолотого. Зато, если батюшка проезжал по столице, он всегда оделял нищих. Щедро. Грошей по пять по крайней мере. И голодный народ рыдал от умиления.

Святой Орден на батюшку молился. Еще бы! Патриархи ходили в шелке и парче, драли с прихожан, сколько хотели, и давали королю советы. А он им жаловал земли. Благодать Божья! Некромантов сапогами в угол запинали. Ибо от лукавого. Не к месту в благочестивом государстве. На меня святые отцы надели серебряный ошейник со священной каббалой и запаляли – чтобы я не мог убить своим Даром человека. Ну-ну. Сожгли Ульриха-Травника под овации толпы. А он, кроме вызова демонов, открыл снадобье от чахотки. Но кому это интересно?

Батюшка так любил матушку... Понятно за что: она подходила ему редкостно. Такая же, как и он сам, восторженная дама с рыцарской романтикой в головке. Этикет, танцы, кодекс. Все – как по канону полагается. Выезжают, бывало, на охоту или в загородный замок – загляденье, а не пара. Он – такой большой, статный, бородатый, она – такая беленькая, розовенькая, нежная. В сияющих коронах, в шелках, в бриллиантах. Бросают милостыню. Лошади лоснятся, штандарты лоснятся, морды у свиты лоснятся... Красотища! Идеальная семья. Святые отцы во время проповедей их прихожанам в пример ставили, когда говорили о нерушимости брачных уз.

Моего старшего брата, чудесного Людвига, батюшка обожал... Всей нежной душой. И матушка любила. Братец всегда был на людях, а я – всегда по углам. Он – с мечом, а я – с заплесневелой книжкой. У него золотые кудри, львиная стать и голубые глаза. У меня бледная рожа, крючковатый нос и одно плечо выше другого. Он – истинный рыцарь, а у меня... Дар...

Ему папенька дарил оружие, лошадей и всякую другую всячину. На меня смотрел очень выразительно – сразу ясно, что до смерти хочет высечь, но боится, что мой ошейник не сработает. Сами посудите: мог ли я хоть намекнуть ему, что думаю о его дворе?

Так и жили. Старые, как сейчас говорят, добрые времена...

Демона я впервые вызвал в ночь, когда мне исполнилось тринадцать. Хорошая была ночь, все знаки сошлись – нумерология, парад планет... Убивать я не мог из-за ошейника этого дурацкого – это да, тогда еще не мог, силенок не хватало сломать защиту Святого Слова, – но вот пообщаться с Теми Самыми Силами мог, оказывается.

От них меня не прикрыли. Никому в голову не пришло, что у ребеночка храбрости хватит. А хватило – я как раз отличный трактат об этом прочел и рвался попробовать. Может, будь я постарше и поумнее, и не посмел бы – но уж в тринадцать-то мне море было по колено. Я ни с кем об этом не распространялся, но считал себя великим человеком. Великим некромантом – и в скобках великим королем. Никак не меньше.

Все, помню, спали. Дежурный лакей крепко поддал со своим приятелем, тоже заснул. Хорошо так, луна светит, тихо, никто не мешает. Хотя, вообще говоря, мне нечасто мешали, чем бы я ни занимался. Мои покои к числу лучших во дворце не относились – этакий уединенный закуток в одном из флигелей, слуг не дозовешься. Окнами милое жилище выходит на конюшни, вечно там сыро и темно, даже в солнечную погоду, а под ногами гуляют сквозняки и мыши. Приют, видите ли, отшельника – покои опального принца.

Но, если начистоту, меня такое положение устраивало. Никто не лез в мои дела – и слава Богу.

Я пентаграмму еще только разметил – сердце аж в горло выскакивало, как волновался, – а Дар из меня прямо потек. Рисую, помню, угольком на паркете, а линии прямо под моими пальцами вспыхивают синим. Только дорисовал – как оно пошло само собой: память у меня на Слова отличная и реакция отменная, я гада выпустил ровно настолько, чтоб поговорить можно было, а окончательный выход в наш мир загородил.

Те Самые, я слышал, неопытными некромантами иногда закусывали. Не мой случай. Я всегда рассчитывал, даже в детстве. И всегда перестраховывался.

Даже двойную линию защиты сделал. И сработало.

Красивый вышел гад... Красивый. Сейчас, как вспоминаю своего первого, такая тихая печаль находит... Вроде грусти по старому другу. Если часто видишь существ из Сумерек – привыкаешь, уже не то, а вот в первый раз...

Я знаю, большинство людей, когда Тех Самых видят, в обморок грохаются или непроизвольно писаются – но это просто потому, что люди до судорог боятся стихии. Неподвластной силы. Те Самые – это и есть стихия. По-моему, тут не бояться, тут любоваться надо. Такая у него была броня дымящаяся, багровая, мерцающая... Рога – как два золотых клинка, из глаз – острое сияние, кусочки огня стекают по железной маске, как слезы, на пол падают, гаснут... Красиво.

Люблю стихию. Свободу, силу – грозу, метель, ураган... Тех Самых...

Гад, похоже, сообразил, что грохотать в моих покоях нельзя. К чему союзу свидетели? Он и не грохотал. Он прошелестел – как вот бывает ледяная крошка шелестит по насту от ветра январской ночью. Холодный звук, опасный. Темный.

– Изъяви свою волю, юный владыка, – свистящий такой шелест.

Я руки на груди скрестил, инстинктивно. Потом узнал – идеальная поза.

– Мне нужна власть, – говорю. – Земная власть. Я хочу стать величайшим из королей. По-настоящему, а не марионеткой на троне, как отец.

– Абсолют меняется на душу, – отвечает.

– Не подходит, – говорю. – Дорого. Пусть будет не абсолют. Подешевле что-нибудь.

– Власть без любви народа, – шелестит. – Власть без награды. Дурная слава. Тяжелая память. Устроит?

Я почувствовал, как у меня щеки вспыхнули. Идеально. На что мне сдалась любовь этого стада? Пусть любят таких, как батюшка, а я буду дело делать. Награда? Смешно, действительно. Дурная слава? А как они мне сделают добрую? В брата меня превратят?

– Великолепно, – говорю. – То, что надо. Сколько с меня?

– Плату Та Самая Сторона сама возьмет. Для тебя, юный владыка, – даром.

– Проклятие? – уточняю.

– Нет, не официальное. Тебя и так проклянут тысячу раз. Но мы же договорились, что душа останется при тебе. Хотя без души тебе было бы спокойнее и приятнее. Откровенно предупреждаю.

– Не подходит, – повторяю. – Я уже решил.

– Да будет так, – шипит. – Вписано на Скрижали Судеб.

Вижу – ему уже скучно: все решено, а взяли с меня мало. Ну и не стал его зря на границе миров держать. Разрезал себе ладонь, дал ему крови выпить – угостил за приход на зов. Потом отпустил.

Даже как-то слегка разочаровался. И гром не грянул, и папа не умер вместе с братцем. И не чувствую, чтобы поумнел или стал сильнее. Огорчительно.

Но, как я тогда размышлял, если с другой стороны посмотреть – я же не отдал им душу. Вот если отдал бы – они бы мигом подсутились. А так – жди, пока сработает.

Я же пока не знал, как они берут сами. И сколько. Ребенком еще был, в сущности...

Но душа осталась при мне – не верьте слухам. И самое смешное – я ни разу не пожалел. Я умею боль терпеть – если без нее никак. А некроманту профессионально без боли не прожить.

Первое, что я заметил, – это как мое отражение в зеркале день ото дня меняется.

И – ох...

У подростков кожа часто портится. Воспалется и все такое. Но с моими прыщами ничто бы не сравнилось. Вышесреднее явление. Шедевр. Каждый, по моим теперешним воспоминаниям, величиной с горошину, не меньше. И самого яркого цвета, который нашелся бы у Господа в палитре. На моей бедной физиономии клочка чистой кожи в квадратный дюйм не нашлось бы. Разве что там, где синяки под глазами.

В общем, ощущалось так: как на себя гляну, думается не о короне, а куда бы пойти удавиться, чтоб никто потом труп не нашел. Родная маменька на меня смотрела, будто на слизняка. Не говоря уж о девочках. А я был вполне парень, как ни странно. Интересные вещи иногда снились.

Мой драгоценный братец девиц валял пачками. От судомоек и швеек до благородных включительно. Папенька, когда узнавал об очередном приключении, только ласково улыбался от скромной гордости. Вот мы какие, женщин к нам так и тянет. У шестнадцатилетнего принца должна быть толпа любовниц.

А принц, которому шел четырнадцатый, шпионил безбожно. И чем больше видел, тем больше тошнило. Цепляло, но тошнило.

Я тогда еще не понимал почему.

Вернее, догадывался. Со мной-то все эти фрейлинки вели себя этак официально до невозможности и просто леденели, как декабрьская луна. Смотрит такая на меня, болезного, с омерзением. Губки подожмет, сощурится. «Ваше высочество, умоляю, простите меня, я тороплюсь». Я то радовался, что на мне ошейник, то жалел об этом – так убить хотелось.

Не просто убить, а так, чтобы почувствовала. Чтобы дошла моя злоба у нее до сердца, до костей, до печени... и до некоторых других внутренних частей.

Сказано: учитесь властвовать собой. Вот уж я учился...

Нет, поймите меня правильно. С точки зрения... ну, с обычной точки зрения, как принц, я мог бы и приказывать такой. Чтобы унижить ее, просто до пола опустить, до дворцовых подземелий. Но – гордость не позволяла, гордость. И стыд.

О, как за отрочество свое неприкаянное и окаянное я презирал эту возвышенную любовь! Да вот, да! Да, сидел в клетушке на вершине сторожевой башни, рассматривал гравюры в старинном трактате «О плотских утехах» и Бог знает что еще делал. Тошнило, но тянуло. И ненавидел все эти серенады-свидания-страдания-сцены-локоны так, что руки дрожали.

Они же меня ненавидели за прыщи на морде и за перекошенную фигуру. А я их – за выражения лиц и за позы. Кто из нас имел больше прав на ненависть?

Меня – за внешнее. Я их – за внутреннее.

Тяжело оказалось смириться. Я только догадывался еще, что это Те Самые с меня плату берут. Авансом. И к тому же это оказалось только начало. Цветочки, так сказать.

Первый урожай ягодок появился, когда я влюбился.

В пажа. Ага. В маменькиного. Без памяти.

Звали его Нэд. Лица уже почти не помню, как это ни грустно. Глаза зеленые, веснушки, щербинка между передними зубами, когда улыбался... Но черты не складываются в картину. Слишком было коротко и слишком...

Слишком тяжело ранило. До крови.

Ну, он-то был не фрейлина. Такой приказ не унизил ни меня, ни его; я просто приказал остаться – и он остался. Даже улыбаясь. Но дело не в этом. Дело в том, что с ним оказалось легко-легко общаться, совсем легко – диву дашься! А главное – он меня слушать стал, ни малейшей неприязни не выразил, ни капли отвращения. Я растаял. Я ему рассказал почти обо всем, искренне. Он был старше меня на пару лет, сходу все понял, так среагировал...

Я в первый раз в жизни поплакал у кого-то на плече. А он сказал: «Не берите близко к сердцу, ваше высочество, вы еще всем покажете». Душу мне согрел. А я впервые в жизни по-настоящему был благодарен кому-то. Еще немного – и у меня появился бы друг, а это бы столько всего изменило...

Нэд...

Не повезло нам.

Через неделю нас поймали вдвоем. Смешно сказать, за каким занятием: я плакал у него на плече... А что началось, Боже, что началось!

Как папенька на меня орал! Какими словами называл! Как братец присоединился! И святой отец! И премьер! И как их бесило, что я в ногах не валяюсь, не каюсь и пощады не прошу!

Я, как они говорили, закоснел в грехе, несмотря на юный возраст. Проклятая кровь. Надо выжигать каленым железом. Пока не поздно.

Выжгли.

Заперли меня в каморку для провинившихся слуг, только, в отличие от тех самых слуг, к стене приковали серебряной цепью. Во избежание. А над дверью прибили свиток с изречением из Писания: «Преступивший закон мира – да будет осужден». И не оставили мне не только книг или пера с чернильницей – кусочка штукатурки не оставили, пентаграмму нацарапать.

А за окном, около скотного двора и выгребной ямы, представьте себе, у выгребной ямы – сплошное милосердие и рыцарство! – повесили Нэда. За то, что он, якобы, научил принца всяким непотребствам. Сняли с двух столбов качели, на которых птичницы качались, закинули веревку...

Я там несколько месяцев просидел на хлебе и воде, глядя, как разлагается его труп. Я был – ярость во плоти. Сначала просто рыдал от ярости, от тоски, от бессилия, был готов грызть эту цепь. Потом перестал, начал думать.

Я теперь понимаю, что это Те Самые организовали. Для того чтобы у меня хватило сил на дальнейшую жизнь.

Силы берутся из любви и ненависти. Только так.

Выпустили меня перед свадьбой братца.

Я бы дольше там просидел. Меня бы, наверное, в конце концов заточили куда-нибудь в каземат, в башню или еще куда подальше, но решили, что сломали. Я стал тихий. Тихий-тихий: молчал, смотрел в пол. Я давно заметил: если кто-нибудь смотрит в пол, все думают, что ему глаз не поднять. Воспользовался.

Отец мне сообщил, что прощает меня. Ради огромного праздника. Мол, надеется, что я одумался и более оскорблять свой род мерзостями не буду. Веселый такой был, благожелательный, довольный.

Я кивал, смотрел в пол. Не мог взглянуть ему в лицо, боялся – Дар внутри меня бушевал, как пар в котле над огнем, если крышка запаяна. Чугун мог разорвать в клочья – а я же не чугунный. Боялся обозначить свою злобу раньше времени, боялся. Не готов был.

Они меня не спросили, прощаю ли я их. А я не простил. И решил для себя: никогда не буду оставлять в живых тех, кто меня ненавидит. И в раскаяние верить не стану. Все это чушь для отвода глаз. Человек, как я, может делать вид, что унижен, раздавлен, что ему уже все равно... А сам будет собирать силы.

Дудки.

Маменька меня поцеловала в лоб. Все щебетала, щебетала, как она рада, что я исправился. Как ей хотелось, чтобы я порадовался за братца, чтобы принял участие в церемонии. Я содрогнулся, когда она ко мне прикоснулась.

А она сказала: «Ничего, ничего, Дольф, все дурное уже позади. Пойдите, милый, найдите братца, поздравьте. Пойдите, пойдите».

Я пошел.

Нашел его в гардеробной.

Он стоял перед зеркалами, парадный костюм примерял, для свадебной церемонии. Белый и золотой, этакое солнце на снегу, локоны рассыпались по блондам, перстни с бриллиантами горят, словно роса утром на белых розах. Шикарно, ничего не скажешь. Шикарно.

Он мне дал подойти, так что я тоже в этих чертовых зеркалах отразился. И братец полюбавался изящным контрастом: он, восхитительный белый принц, и я – церемониальные тряпки висят мешком, как на скелете, лохмы сальные, рожа осунулась, сутулый, скособоченный... Людвиг в тот момент, полагаю, искренне наслаждался и положением своим, и своей статью, и белым шелком, и невероятным своим превосходством. Хорошо так, от души наслаждался – на лице было написано.

Можно понять, правда?

И со мной заговорил в точности, как отец. Так же благодушно, весело и снисходительно.

– Ага, – сказал, – славно, что тебя выпустили. Рад. Поглядишь, как это бывает по-человечески.

– Ага, – говорю. И смотрю в пол.

А он продолжил. Улыбаясь. Мой дорогой братец.

– Хорошо, хорошо. Тебе, в конце концов, надо учиться жить, как подобает принцу. На охоту со мной съездишь. Бал посмотришь. Танцевать с тобой, конечно, едва ли кто-нибудь захочет, но музыку послушаешь все-таки...

– Ага, – говорю. Все равно ему не нужны мои ответы.

Он улыбнулся так мечтательно.

– Невеста – прекрасная Розамунда. Из Края Девяти Озер. Ты уже слышал? Говорят, она увидела мой портрет – и даже обдумывать не стала.

– Ага, – говорю.

Не стала обдумывать. Ну да. Шестая дочь этого бедолаги из Края Девяти Озер. Он себе чуть пупок не развязал, придумывая, что всей этой ораве девиц дать в приданое. Разорился, в

долги влез. Король, н-да... Младшенькая, все говорили, хороша, как эльф. А денег у папашки больше нет. И за ней дают клочок земли размером с загон для гусей – три деревни, два села – и серебряные ложечки.

Но наша благородная фамилия за приданым не гонится. Была бы у невесты честь и добродетель. И древность рода.

Дерьма тоже... Еще бы она стала обдумывать. Принц из Междугорья все-таки. Страна небедная, может, при дворе будут три раза в день кормить.

– Поздравляю, – говорю.

– Завидуешь, небось, – говорит. С сердечной улыбкой. – Сравнить прелести Розамунды с костями того дохлого пажа...

И в этот самый миг я вдруг почувствовал, как защита треснула. Смертную боль почувствовал, когда эта трещина пошла по сердцу, по уму, по нервам, по душе, – чуть не заорал, так Дар жег щит Святого Слова. Хотелось корчиться и по полу кататься. Едва стерпел.

И вдруг отпустило.

Я поднял глаза и посмотрел на Людвига. Смотрел и ощущал, как Дар протек через трещину, то-оненькой струйкой. Как черный ручеек влился в братцев мозг, но не разорвал мозг в клочья, нет – собрался где-то внутри, маленькой лужицей, таким стоячим болотцем. Чтобы долго и тихо гнить.

А Людвиг ровно ничего не понял. Понятливость – вообще не наша семейная добродетель. Да ему бы и в голову не могло прийти, что он сейчас сломал мою защиту. И что именно ему нужна эта защита, как воздух. И что мой ошейник – это уже просто побрякушка. Цацка. Как любой его дурацкий перстень.

Он посмотрел мне в глаза – мне казалось, что в них моя смертная злоба горящими буквами выжжена, – и захохотал.

– Что?! Проникся? Ну то-то. Беги, малыш, играй – сейчас портные придут. К этому костюму еще плащ полагается – белый с золотым подбоем, представляешь?

– Очень красиво, – говорю. Еле выдавил из себя. И ушел.

Я сам не знал, и никто не знал, что мой Дар так силен, чтобы проломить каббалу на серебре. А тем более – что я могу наносить раны, которые открываются не сразу. Это уже высшие ступени, многим старцам, высохшим в злодеяниях, не под силу. Но этой мощью меня не Те Самые Силы одарили, это я понял точно.

Это подарок от моих родных и близких. Моя боль, ярость и беззащитность. Все могло быть иначе, но они сами сковали мне меч против них же самих, закалили этот меч и подвесили к моему поясу.

И я им за это даже не благодарен, потому что если бы этого не случилось, на моей душе было бы гораздо меньше шрамов.

Людвиг умирал целую неделю. Смешно, но меня даже в мыслях никто не заподозрил. От меня же одни кости остались за время моего затворничества, на мне же ошейник был со Святым Словом – был меньше, чем ничто.

И потом – меня, как всегда, перестали замечать.

Они возились с Людвигом.

Лейб-медик сначала сказал – похоже на черную оспу. Потом понаблюдавал-понаблюдавал – нет, скорее, на проказу, но осложненную и нетипичную. И тогда собрали консилиум.

И все эти лейб-медики, просто медики, лекари, знахари, святые отцы кружились вокруг Людвигова ложа, как воронье вокруг падали – черные, хмурые. Обсуждали, советы давали, поили его всякой дрянью...

Ни одного некроманта, конечно, не позвали. Любой некромант сходу сказал бы, в чем дело, – чужая, мол, злоба его убивает. Но кто их слушать будет? От лукавого? И потом – где бы взяли некроманта в таком-то благочестивом государстве. Так что мне ничто не грозило.

Обо мне говорят, что я не знаю жалости... Очередная ложь.

Я не наслаждался, не верьте слухам. Я смотрел на него, на его смазливое личико в язвах, на руки, высохшие, потрескавшиеся, покрытые струпьями, – и меня тошнило. Я бы его добил с облегчением, из сострадания добил бы – по-другому ему нельзя было помочь, – но они-то надеялись, что он выздоровеет...

Ох, если б он меня позвал и попросил смерти! Если бы он понял, хоть перед самым концом! Я бы, наверное, плюнул тогда и на корону, и на власть – я бы отпустил его душу, а сам в монастырь бы ушел. И никогда больше не использовал бы Дар – даже чтобы муху прихлопнуть.

Но так не бывает.

Он смотрел на знахарей бешено и хрипел:

– Быдло тупое! Холуи ленивые! Что, ни один идиот не может придумать, как скорее меня вылечить?! Мне же больно, гады! У меня же невеста! Вам что, все равно, да?!

Ему и в голову не могло прийти, что кому-то может быть все равно. С ним всегда все носились. Да что там – весь белый свет существовал для его удовольствия. Все люди служили ему игрушками. Он никогда не страдал, мой братец Людвиг. Он был здоровый, его никогда не били, ему давали все, что он попросит, – а тут...

О, как его бесило, что Господь Бог его не слушается! Он же просил – дай мне поправиться, ясно просил – а Бог не дает!

Уже перед самым концом он скулил, как щенок:

– Папенька, сделайте что-нибудь! Ну сделайте! Я жить хочу!

И папенька смахивал скупую мужскую слезу, а маменька просто в конвульсиях билась. Но как бы они ни оплакивали его – горе им не мешало ненавидеть меня.

Я же теперь стал наследником. Вот так.

Людвиг мне сказал напоследок:

– Ты, Дольф, сам знаешь – ты в наследные принцы не годишься... Ты – выродок. Но судьба за тебя, будь все неладно, – радуйся давай! Радуйся!

А отец с матерью меня взглядами просто в пол впечатывали. Они тоже так думали, слово в слово. Меня их отвращение к земле гнуло, в узел завязывало, но ненависть распрямила.

Если бы не неделя с Нэдом, они бы меня стоптали в пыль. Но теперь у меня было оружие, хорошее, надежное оружие – и я даже глаз не отводил. И не раскаивался.

Когда Людвиг хоронили, я придерживал гробовую пелену и ощущал на себе взгляды двора. И как всегда – принимал к сведению.

В день его похорон как раз собирались устроить помолвку.

Прекрасная Розамунда стояла в сторонке, вся мокрая от слез, вся в черном – как пушистый котенок, который попал под ливень. Маленькая такая, тоненькая, в свите своей, среди громадных баронов и толстых фрейлин. Все, помню, пожималась – ветрено было, пасмурно, хоть и июнь, – и платочек мусолила.

Кого я всерьез жалел, так это ее. Так хорошо пристроили девчонку – и вот такое разочарование страшное. И какими глазами она смотрела на Людвиг в гробу – не передать. Смесь жалости, ужаса, отвращения, нежности – порох такой внутри души. Одна посторонняя искорка – рванет, и сердце разорвет в клочья.

Я думал – ишь, еще не невеста, а уже вдова. Бедняжка.

Ребенок я еще был, ребенок. Не знал, на что Те Самые Силы способны, но на что обычные люди способны, чтобы соблюсти свою выгоду, я ведь тоже не знал до конца. То, что дальше вышло, меня поразило, просто, можно сказать, ошарашило.

Государь-то Края Девяти Озер вовсе и не собирался рвать брачный контракт с моим батюшкой и терять для любимой доченьки такую выгодную партию – хоть весь мир сгори или провалился. Сам лично приехал договариваться и разбираться. На Совете резал правду-матку, аж клочья летели. Старший принц умер – пустяки какие, в самом деле! Младший-то остался! Он что же, не мужчина у вас?

Папенька, как я слышал, ответил: «Да не совсем».

Ну и что? Кому это интересно-то? Кого волнует? Еще подрастет, чем бы дитя ни тешилось... И потом – ему уже, считай, сровнялось четырнадцать, а девочке еще не исполнилось пятнадцати: ровесники!

Батюшка мой слабо отбивался. А папенька Розамунды наседали. И в конце концов слово прозвучало: НЕКРОМАНТ.

Только это никого не остановило. Они были в таком раже от заботы о престолонаследии и собственных деньгах, что им уже на все плевать хотелось.

Подумаешь, некромант. Хоть вурдалак!

Я же бедную девчонку больше жалел, чем ее собственная родня. И я все понимал, несмотря на возраст: она ж не первая девчонка была, которую я видел в жизни. И ей показывали портрет Людвига, она, может быть, даже поболтать с ним пару раз успела, с нашим белым львом, потанцевать... а теперь должна как-то смириться вот с этим... что я в зеркале регулярно вижу.

Меня лейб-медики осматривали, и озерный, и папин – стыдоба. О таких вещах спрашивали, за такие места хватили – думал, сгорю на месте. Но обоим государям донесли, что, невзирая на свой юный возраст, я уже вполне мужчина, что бы я там о себе ни вообразил. Короче, подписали приговор нам обоим.

В городе объявили, что наша помолвка состоится сразу по истечении срока траура. И весь город шептался все три траурных месяца, что отдали, мол, кривобокому шакалу белого ягненокка. Я об этом знал, потому что при дворе болтали то же самое, только злее.

А я сидел в любимой клетушке на сторожевой башне и строил иллюзии. Нэда вспоминал, вспоминал, как славно, когда рядом... как сказать... ну, когда обнимают тебя горячими руками, по голове гладят, говорят что-нибудь доброе, пусть хоть пустяковое. Я же одиночкой рос, меня никто не ласкал – проклятая кровь – а хочется, хочется ведь...

Клянусь Той Самой Стороной или Господом, если вы так легче поверите, – ни о каких непристойностях не думал. Ни о самомалейших. Просто размечтался, как я Розамунде объясню, что я ей не враг, что обижать не стану и другим не позволю... Что лапать ее, как все эти придворные кавалеры своих девок, нипочем не буду, а в первую ночь поцелую ей руку, только руку... Ну если только в лоб еще, если она захочет. Что вопросами престолонаследия станем заниматься, только когда она сама позволит. Когда подружимся.

Расскажу ей, думал, как Нэду, все честно. Чтобы она поняла, что я не законченная мразь и что не завидовал Людвигу – другая причина была... Если только когда-нибудь посмею ей сказать, что Людвига убил...

А к ней подойти не получалось. Она вечно с дуэньями ходила. А у дуэний был вид цепных собак. И я решил, что это, видно, против правил каких-то – разговаривать с невестой до свадьбы. Не стал настаивать.

Я не влюблен в нее был, нет... Но она меня занимала. Даже очень. Я все думал, что она мне станет подругой, родным человеком. Что все будем обсуждать вместе, разговаривать...

Поговорить иногда ужасно хотелось. Это у меня редкое удовольствие было – разговор. Я иногда даже романы читал – там люди разговаривают. Хотя не любил романы, кислятину сопливую. А тут, думаю, повезло мне. Девчонки любят болтать, просто сами не свои. А я буду слушать – им же нравится, когда их слушают. Узнаю, что она еще любит, почитаю книжки об этом... Даже если это будут платья или пудра, все равно...

Скромные мечты... Я даже пару уроков танцев взял, хоть на балы никогда не ходил и танцевать терпеть не мог. Может, думал, она все эти танцы-шманцы любит, девчонка же...

Тяжелые выдались три месяца. Я про все забыл, даже книг не читал, ходил как в тумане. Все казалось – теперь начнется совсем другая жизнь. Не то чтобы даже счастливая, а просто – потеплее, чем эта. Все равно что отдали бы мне Нэда и он бы спал рядом со мной осенними ночами, когда за окном льет и ветер воет, а весь мир против тебя, и ты кусаешь подушку, чтобы не взвыть на весь дворец...

Мне тогда хотелось только тепла – больше почти ничего.

А она была тоненькая, с темно-золотой косой, с длинной шейкой, с громадными глазницами, синими, бархатными, будто дно у них выложено фиалками, и с маленьким ротиком, бледно-розовым, как лепесточек. И таскала свои тяжеленные роброны, черные с золотом, несла подол впереди стеклянными пальчиками...

Ужасно была похожа на эльфа, как их на старинных миниатюрах изображают. Только один мой авторитет (некромант, конечно!) в своем историческом труде утверждает, что эльфов на свете никогда не было. Что это выдумка. Правда, красивая...

Лето, помню, тогда выдалось холодное, а осень и подавно – холодная, туманная. Выглянешь утром из окна – туман лежит пластами, хоть режь его. Сумеречно, пасмурно. И на душе смутно, беспокойно, будто ее царапает что-то... Тяжелый был год, тяжелый. Очень для меня памятный.

Свадьбу назначили на начало октября.

Мне тоже сшили такой костюмчик, как покойному братцу – царствие ему небесное. Белый с золотом. Только если Людвиг в этом белом был словно солнце на снегу, то я – вылитый стервятник, переодетый гусем. Умора, право слово.

Я давно заметил: если когда и выгляжу более-менее сносно, так это только в виде небрежном, растрепанном, что ли, немножко. Когда волосы взлохмачены, воротник расстегнут, манжеты выдернуты из рукавов... Конечно, по-плебейски смотрюсь. Но, по крайней мере, не как зализанное чучело.

Но церемониймейстер, портной и вся эта компания во главе с моим камергером просто, похоже, сговорились меня поэффектнее изуродовать. С Господом Богом им, разумеется, не тягаться, но определенных успехов они достигли.

Запаковали меня в эту парчу и атлас, как флейту в футляр. Волосы мои завили и напудрили. И лицо от этого выражение приобрело совершенно идиотское, как ни погляди.

Потом стало все равно. Потом. Но в четырнадцать лет это кажется жутко важным – хороши ты внешне или плох. Глупо. Ребячество. Но ничего не поделаешь. Вот я стоял у зеркал, глотал комок в горле и думал, что лучше сбежать в дикие леса и стать там отшельником, чем в таком виде показаться перед двором, который только и ищет, над чем бы зубы поскалить.

А тем паче – перед Розамундой.

И вот она всплыла в храм, как лилия из инея, в острых бриллиантовых огоньках, бледная, как кружева вокруг ее личика, – одни глаза, как темные сапфиры, а в них отражаются свечи. И пока она ко мне подходила – я себя и этак, и так... Всеми словами. Про себя.

Смотреть я на нее не мог (надо же на святого отца!), но рука у нее, помню, холодная была и влажная. И дрожала. И я думал, что она озябла и боится. Я бы ее Даром прикрыл крепче крепостной стены от любого несчастья, от всего мира...

Там, в храме, я все плохое, что о девчонках и о романах думал, будто куда-то в дальний ящик запер.

Потом был обед. Скучный, церемонный. Розамунда сидела, будто раскрашенная статуэтка, ничего не ела, все молчала. И мне не лез кусок в горло. Я только слушал, как батюшкины

придворные, скрепя сердце, или, как Нэд говорил, «скрипя сердцем», меня поздравляют: все это вранье, дешевое вранье, издевательское вранье, насмешливое вранье...

Вот тут-то мне и закралась в голову мысль, что эта свадьба – тоже кусок моих постоянных налогов Той Самой Стороне. Я это додумать до конца побоялся – до холодного пота между лопатками. Но это-то сущая правда была. Правда.

Единственная правда на том пиру, будь он неладен.

Я еле дождался, чтобы нас оставили, наконец, одних.

Шут отца Розамунды, гнидка горбатенькая, еще вякнул, что, мол, юного жениха снедает нетерпение наконец взглянуть, в тон ли робам на невесте подвязки, – и все заржали. А я опять почувал: Дар во мне загорелся темным пламенем. Он все это время тлел, будто угли под пойлом, а тут полыхнул так, что щеки вспыхнули. Но я сдержался.

Я решил, что со всей этой сволочью потом посчитаюсь. Подал руку Розамунде, а она только сделала вид, что подала свою, – чуть-чуть прикоснулась. И когда мы уходили, мне снова было жаль ее до рези в сердце – но кроме жалости оттуда прорезалась и ненависть.

Ждала своего часа. Я еще не знал какого.

Мы пришли в спальню. Поганое брачное гнездышко, как в самых гнусных романчиках: розовенькие кисейки, золотые бордюрики, хмель везде...

Я посмотрел на Розамунду, а она опустила глаза. И мне опять стало страшно до судорог.

– Вы устали, да? – говорю. Ничего умнее на язык не идет.

– Да, – отвечает. Еле слышно. Она в моем присутствии в полный голос еще ни разу не говорила.

– Может, – говорю, – вы, сударыня, глинтвейна хотите выпить? Или орешков вам насыпать?

– Нет.

Тихо, но резко. Нет. Все – нет. И я сказал:

– Вам плохо?

Она подняла голову, встретила мой взгляд... И лицо у нее было напряженное, упрямое и какое-то ядовитое – совсем не эльфийское, девчоночье, вздорное. И на нем – не вызов, как у парня, а желание ранить и не получить рану в ответ.

Они ведь не признают никаких законов поединка. Бьют в больное место и прикрываются чем-нибудь непреодолимым – вроде слез или обвинений. Я об этом совсем забыл. Размечтался. И теперь мне напоминала Та Самая Сторона – из ее глаз.

– Мне прекрасно, – сказала. – Я счастлива. Вы же все сделали для моего счастья.

Я не понял. И растерялся.

– Ну как же, – продолжает. И в голосе яда все больше и больше. – Вы же некромант, все говорят. Это вы убили Людвига.

Достань она из корсета кинжал и воткни мне в горло – то на то и вышло бы. Я задохнулся, только смотрел на нее во все глаза. А она продолжала негромко, как будто спокойно, и ядовито, будто у нее тоже был Дар своего рода:

– Я много о вас знаю, Дольф. Вы упиваетесь смертями, как гиена. Вы с детства завидовали Людвигу. Вы похотливы – да, мне об этом тоже сообщили! Вы развлекаетесь омерзительными вещами. И вы убили Людвига из зависти и из похоти – я об этом легко догадалась. Вы влюбились в меня и разбили мое сердце. Вам хотелось меня получить – и вы получили. Как вы жестоки и как вы низки!

Я сел. Я потерял дар речи. А она продолжала:

– Людвиг был лучше вас в тысячу раз, Дольф. Он был красив, он был благороден, он был добр и любезен. Он был способен любить, понимаете? Вам, верю, и слово-то это неизвестно. Он говорил мне удивительные вещи...

И заплакала.

А я подумал, что он говорил удивительные вещи фрейлинам, прачкам, горничным, бельевщицам – даже кухаркам. И уж что другое, а любить он был способен так, что только мебель трещала. И что ее благородный Людвиг с доброй улыбкой наблюдал, как Нэд стоит и плачет куда горше, чем Розамунда, а на его шею накидывают петлю.

И у меня сжались кулаки, сами собой, и лицо, видимо, тоже изменилось, потому что она посмотрела на меня сквозь слезы и сказала:

– Вам нестерпимо слушать правду, да? Вы уже и меня убить готовы, палач?

А я не привык говорить. Не умел оправдываться, не умел быть галантным, вообще ничего такого не умел. И я сказал, как умел.

– Если я палач, – говорю, – что ж вы сказали «да» в храме?

Она разрыдалась в голос. Ее всю трясло от слез, мне хотелось погладить ее по голове или обнять, но я боялся, что она это не так поймет. Я не злился на нее, нет. Я понимал, что ее обманули маменькины статс-дамы, забили ей голову всяким вздором... Я не знал, что с этим делать, но мне казалось, что она не виновата.

Я тогда еще не знал, что очень красивые и очень беспомощные с виду люди могут быть самыми изощренными врагами, – и беспомощность Розамунды совершенно меня обезоружила. А она, рыдая, выкрикнула:

– Теперь у вас хватает жестокости попрекать меня послушанием! Как я могла послушаться отца, как?!

– Сказали бы, что я убил брата, – говорю. – Отправили бы меня на костер.

– Я говорила! – всхлипывает. – Но мне никто не верит!

– Вот здорово, – говорю. – Вы вышли замуж за того, кого хотели убить?

Она вытерла слезы и пожала плечами. В этом вся соль. Добавить нечего. Она ведь тоже была еще ребенком – такая непосредственная. Еще не умела врать, как взрослые дамы – настоящему.

Самое отвратительное, что мы в ту ночь легли в постель вместе.

Я сидел на краешке ложа и ел конфеты. Миндаль в сахаре, точно помню. С тех пор ненавижу этот вкус до рвоты – как случается что-нибудь стыдное, тяжелое, болезненное, так во рту этот привкус. Сладкий, горьковатый, ореховый.

Я вообще сладкое не люблю. Но хотелось руки чем-нибудь занять и рот, а кроме этого чертова миндаля, нам ничего не поставили.

А Розамунда сидела с другой стороны и тоже ела миндаль. Всклипывала и хрустела конфетами. Я понимаю, что это глупо выглядело, но на самом деле я чувствовал так, что нас просто заставили быть вдвоем в одной спальне, железными крюками стянули. Надо было как-то барахтаться, чтобы не утонуть – в стыде, в злобе, в гадливости – кому в чем.

Мы ужасно долго так сидели. Часы на башне пробили четверть одиннадцатого, потом – половину, а мы все ели орехи и не могли больше ничего сделать.

В конце концов я сказал:

– Сударыня, я спать хочу. Я тут лягу на краю, ладно?

А Розамунда посмотрела на меня презрительно и говорит еще холоднее и ядовитее, чем раньше:

– Вы, значит, совсем не мужчина? Да?

Я говорю:

– Вы решите для себя, сударыня, кто я – похотливая скотина или вообще не мужчина.

А то нелогично.

И Розамунда ответила:

– А, так значит, это вы решили надо мной поиздеваться? Показываете, что я вам не нужна? Так вот, не подумайте, что я желаю ваших ласк, сударь! Просто все должно делаться по обычаю, если вы не помните. И иначе – я не знаю, какими глазами буду смотреть завтра на вашу мать.

– У вас что, – говорю, – несколько пар глаз?

Розамунда вздохнула устало, и глаза – единственная пара – у нее наполнились слезами, а я подумал, что можно было сарказм и приберечь для другого случая.

– Да я ничего такого не имел в виду, – говорю. – Я же не слепой, вижу ваши неземные совершенства... и это... запредельное изящество.

Из нее на мгновение радость полыхнула, этакой вспышкой – р-раз и нет. Я подумал, что правильный комплимент вспомнил и что стоило свеч читать романы.

Я сейчас понимаю: я тогда подтвердил ей, что у меня одна похоть на уме. Но тогда...

Я ужасно долго расстегивал крючки у нее на роброне, корсет ей расшнуровывал, потом – вытаскивал затейливые штуки вроде тонких длинных гвоздей у нее из прически и думал, что камеристкам нелегко живется. А Розамунда передергивалась, если я случайно дотрагивался до ее голого тела.

И я пытался себе представить, как это можно делать, не прикасаясь. Я уже понял, что это будет не весело. И не... как сказать... не будет греть. Что это будет не игра, а работа, причем тяжелая и неприятная.

Потому что, если тебе нужно делать что-то против воли, это моментально превращается в работу. Даже любовь.

И оказалось, что я совершенно прав. Потому что Розамунда не хотела, чтобы я ее целовал, дергалась, когда я пытался ее обнять, и отчаянно старалась на меня не смотреть. И когда мы кое-как отработали этот кошмарный ритуал, оставаться рядом не было сил. Я думаю, мы оба казались себе гадкими, замаранными.

А я к тому же не мог избавиться от мысли, что ранил Розамунду. Крови оказалось немного, но от тяжелых ран бывает и меньше. И мне было тошно, жалко, тоскливо, душно, зло – короче, я чувствовал что угодно, только не хваленую похоть.

И мы легли спать, отодвинувшись друг от друга так, как только ложе позволило. Я слышал, как Розамунда ворочается и всхлипывает, мне ужасно хотелось подать ей руку или сказать что-нибудь доброе, вроде «Не берите близко к сердцу, сударыня», но я уже знал, что это бесполезно.

Те Самые Силы получили свой сладкий кусок. Теперь надо было жить дальше.

Так и началась эта моя новая жизнь.

Следующий день после свадьбы принес сплошной позор, и могло ли быть иначе? И через день был позор, и была тоска. Но, слава Господу, я выяснил, что мне можно не спать в спальне Розамунды каждую ночь, – и мы разошлись жить по разным углам.

Так все и пошло. Розамунда жила в кабинете для рукоделия, там у нее – свита, камеристки, чтица, там ей читали вслух слюнявые баллады о неземной любви и рыцарские романы, в которых у героев дивная статья... А она тем временем вышивала на алтарный покров с ангелочками для дворцового храма.

А я жил в библиотеке. Или на башне. Или шлялся по дворцу, подглядывал и подслушивал. Меня не посвящали ни в какие дела. Я попытался перед Большим Королевским Советом намекнуть отцу, что не худо бы и меня пригласить, я же наследный принц все-таки, но он на меня так рывкнул, что у меня отпала охота спрашивать.

– Будешь делать только то, что я велю! Подлый выродок, даже заикаться не смей! – что-то в таком роде.

Я больше заикаться не стал. Я хорошенько рассмотрел помещения, примыкающие к Залу Совета, и нашел одно с интересным акустическим эффектом. И с тех пор присутствовал, только без лишней помпы. Так появилась еще одна политическая проблемка, о которой отец не знал.

Я очень внимательно слушал. А после Совета шел в библиотеку, доставал карты Междугорья и окрестных земель и все сопоставлял. И еще у меня был давно спертый из библиотеки трактат Хенрика Валлонского «О разумном управлении финансами», и я его штудировал не хуже, чем заклинания. Я же отлично понимал: Дар Даром, но деньги тоже нужны.

Книжка была совсем новенькая, когда я ее украл. А теперь выглядела довольно неказисто – но зато я мог ее читать наизусть с любого места, как Священное Писание. Хенрик Валлонский был мой единственный авторитет, кроме некромантов древности.

С помощью моего учителя и карт я потихоньку разобрался во всех политических сложностях. На это уходила адова уйма времени, у меня иногда просто мозги закипали, когда я пытался сообразить, какой тайный смысл заключен в какой-нибудь простой новости и что она дает, но я кожей чуял, что это пригодится.

Потому что я понял: никто из вассалов не смел напрямую врать моему папеньке. Но они говорили, чуть-чуть меня ударения, – и он думал, что все прекрасно, а вокруг была полная задница. Самые невинные вещи оборачивались самыми подлыми интригами.

Три законченных подонка – премьер, канцлер и казначей – обворовывали моего батюшку заодно с Междугорьем так, что комар носа не мог подточить, а все потому, что они тоже читали старика Хенрика, а батюшка читал «Рассуждения о соколиной охоте» и «Достоинства породистых лошадей».

Я пока ничего не мог сказать. Но я по-прежнему принимал все к сведению. Я очень уважал этих троих, но уже тогда был совершенно уверен, что прикажу их повесить, как только надену корону. В казне не хватит денег, чтобы платить им жалованье в тех масштабах, в которых они воровали.

Два или три раза в месяц меня ловил личный лекарь Розамунды, чтобы сообщить, что сегодня сударыня будет ожидать меня в своей опочивальне. Это были какие-то ее особые дни, которые вся эта компания рассчитывала по звездам или еще по чему-то, дни, когда мы могли наконец подарить Междуречью продолжение династии. Этих дней я через некоторое время ожидал, как приступов зубной боли, а после них мне снились кошмары, настолько же страшные, насколько и неприличные.

А Дар...

С тех пор как я убил Людвига, все эти серебряные безделушки перестали мне мешать. Я обрел над Даром абсолютный контроль. У меня пока не хватало фантазии и опыта на то, чтобы его применить, но я уже ощущал смерть всем телом – и она мне подчинялась. Вот кто был моим единственным другом в те поганые времена, когда даже мой собственный камергер и то служил мне из-под палки и болтал гадости за моей спиной.

Смерть.

Чем больше я читал, тем более интересные вещи приходили мне в голову. По приказу моих милых родных бедное тело Нэда – кости с клочьями плоти – бросили в ров, где хоронили казненных без напутствия Святого Ордена. Я сходил туда ночью и отпустил его душу, привязанную к этой грязной яме. Когда он уходил вверх, я успел ощутить его последнюю улыбку. Это немного меня утешило.

Я бродил ночами по дворцовым переходам и чуял обострившимся Даром места, где была пролита кровь. Несколько раз я отпускал души, привязанные к месту своей насильственной смерти, – их убили по приказу моих предков, – и, отпуская призраков на волю, я радовался за них и злорадствовал над предками.

Однажды, когда часовой заснул, я украл у него ключи и спустился в дворцовое подземелье. В нем не держали узников уже лет пятьдесят: папенька не любил, чтобы вопли пытаемых

мешали ему пировать, так что враги короны переехали в Башню Благочестия. Зато я нашел тут немало интересного для себя – Дар светил ярче любого факела и высвечивал потрясающие вещи.

Я до такой степени научился общаться с неупокоенными, что имел даже разговор со страдающей душой бедолаги, замурованного в стену сотню с небольшим лет назад. Он неосторожно прилюдно сказал пару добрых слов о тогдашней королеве – причем святую правду, как я понял. Но ни королева, ни ее порфиноносный супруг этого ему не простили. Именно потому, что это была правда.

Мы с ним посплетничали о королевской власти. И я простил его от имени предков и облегчил ему уход, насколько смог.

Тогда эти бедные души, запертые в кровавых пятнах, в ржавых кандалах и в каменной кладке, казались мне таким явственным отражением моей собственной участи, что хотелось всех освободить. Всех.

Чтобы не слонялись по дворцу, как по тюрьме. Как я.

Но именно там, в подвале, одна интересная потусторонняя личность встретила меня иначе, чем прочие.

Его звали Бернард. При жизни. Он принес мне официальную присягу по всей форме, принятой двести лет назад, и стал таким образом моим первым настоящим вассалом – добровольным.

Чудный призрак! Когда он собирался в подобие телесной формы, становился мерцающей тенью сухого сутулого старикашки в берете с пером и старинном костюме – рукава у кафтана вроде кочанов капусты. В свое время он служил по тайным поручениям у тогдашнего канцлера. Совершенно вышесредний был сутяга, наушник, доносчик – в курсе всех дворцовых интриг: кто где, кто с кем, кто о чем болтает...

Его удушили двое придворных его же собственным шарфом тут, в подземелье, – он спускался записывать допрос очередного узника и неосторожно зашел за угол. И больше всего глодало бедолагу, что он не смог донести на тех, кто его убил. Не было тогда при дворе некромантов, так что некому оказалось стукнуть. Оттого и душа его не обрела покоя.

Меня же Бернард слезно просил не отпускать его к престолу Господню – наверное, потому, что от Божьего Суда не ожидал для своей души ничего хорошего, – а умолял только отвязать от места смерти. Чтобы он мог бродить, где захочет, и служить мне верой и правдой согласно своей потрясающей, отточенной годами квалификации.

– Я, – говорил, – ваше драгоценное высочество, теперь-то, стало быть, могу куда как больше пользы короне принести. Я же теперь и через дверцу, и через стеночку – в любую щелку пробраться могу. Коли бы мне суметь из подполья-то выйти, уж я бы вам, ваше высочество, на все раскрыл глаза-то. Людишки-то, чай, вовсе избаловались без пригляду. Вот кабы мне раньше этот талант иметь, ужо пакостники-то не обрадовались бы – злодей-то, чай, думает, что на него и управы нет, ан управа-то вот она... А для себя-то мне ничего уж не надобно – лишь бы все по закону состояло...

И хихикал. Душка! Только сильно убивался, что ручку мне облобызать не может.

Я его отвязал. И даже пожаловал придворную должность – шеф Тайной Канцелярии. Уж моя-то Канцелярия получилась самая Тайная из всех мыслимых – Бернард вокруг себя шума не устраивал и мало кому показывался. Отчасти из-за того, что силенок у него было не в избытке, отчасти – по профессиональной привычке. Не стонал, не вопил, цепями не гремел, о нем мало кто знал, и нам это оказалось на руку.

Старик даже прослезился, когда я ему сообщил свое решение. Бумагу с моей подписью и гербовой печатью о вступлении Бернарда в должность я ему, конечно, отдать не мог – как бы

он ее взял? – но составил по всем правилам, показал ему и спрятал у себя. Старик обожал всю эту канцелярщину – стоило ж сделать приятное своему приближенному.

Так я приобрел дополнительные глаза и уши, а заодно – собеседника и советника с бесценным опытом по части дворцовой интриги. Душа Бернарда теперь слышала мой зов, вернее, призыв моего Дара, где бы ни находилась, и по зову навещала мое убежище на башне. Я наслаждался разговорами. Старикан любил рассказывать – и рассказывал весьма захватывающе. Сижу, бывало, вечером на охапке соломы у бойницы – свет из нее красный, закатный, ветреный, – а Бернард рядом, еле-еле виден, будто карандашом на стене нарисован. И не спеша так излагает:

– ...дядюшка-то ваш, принц Марк, по братце-то вашем не больно сокрушается. Своими ушами слышал, как он вашему кузену-то да своим баронам говорил, что, мол, теперь самое время настало выждать да надеяться. Мол, маменька ваша, ваше высочество, другого сынка по слабости своего здоровья представить не сможет, а вы, ваше высочество, у государя не в милости. Ведь намекал, пакостник, чтоб своего щенка в обход вашего высочества на трон взгромоздить – так-таки и сказал, не посовестился...

В общем, я потихоньку с помощью Бернарда весь двор разделил на настоящих врагов, пассивных врагов и недоброжелателей. Друзей у меня не было: Бернард утверждал, что обо мне никто не говорит хорошо за глаза, и я знал, что он прав. Я не питал иллюзий – общее пугало, некромант, выродок, урод, проклятая кровь – и только собирался принять меры, чтобы не подвернуться под яд или нож до того, как Та Самая Сторона начнет выполнять обещание.

Я еще не понимал, что обещание уже потихоньку выполняется...

А Розамунда, несмотря на все наши тошные усилия, никак не становилась беременной. И батюшка, если я случайно попадался ему на глаза, орал на меня – «проклятая кровь, мертвое семя, какой я мужчина, чем мы занимаемся, я буду виноват, если род пресечется...»

Прошел год, прошел второй, третий приходил к повороту – на мою голову уже сложили все ругательства, которые знали, – но моя прекрасная супруга наконец все-таки начала полнеть.

Мне сказали: «Первый раз от тебя забрезжила какая-то польза».

Я тихо обрадовался. Я надеялся, что от меня отстанут. И отстали. Теперь занимались Розамундой. Маменька взяла ее жить в свои покои, вокруг нее всегда толпились дамы и повитухи, и я подумал, что Розамунда в какой-то степени заменила маменьке Людвига. А может, маменька ожидала, что моя жена родит ей нового Людвига, не знаю.

Я же очень продуктивно проводил время. Я учился.

Учителей у меня не было уже давно. С тех пор как я прикончил гувернера, придворные профессора и мудрецы ко мне в наставники не рвались. А батюшка решил, что если уж я умею читать-писать, то большего и не надо. И так от меня одна головная боль! А вот буду еще слишком умным...

Поэтому я до всего доходил сам. Дар много помогал – Дар и чутье. Но я все-таки понимал, что, будь у меня учитель, дело шло бы куда быстрее и толковее. А то я же совал нос во все книги подряд: что казалось непонятным – откладывал, выбирал что поинтереснее, начинал ставить опыты, соображал, что не знаю самого главного, – и снова лез туда, где сложно... Иногда в пору было рыдать без слез и башкой о стену биться – так это оказывалось тяжело.

У меня, к примеру, в семнадцать на руках живого места не было – я учился поднимать мертвецов проклятой кровью. Удирал ночью на кладбище Чистых Душ, благо от дворца это четверть часа быстрой ходьбы, искал Даром могилу посвежее, рисовал каббалу, резал запястья, обращался к Той Самой Стороне, капал кровью на вскопанную землю...

Когда первый труп встал – у меня от радости дыхание сперло. Будто весь мир подарили. Могу! Додумался! Сил хватило! Прости Господи, извините за подробности, просто расцеловал эту квелую бабку, которая мирно опочила, наверное, от старческих болячек. Ничегошеньки

она не могла: водила мутными гляделками туда-сюда и покачивалась, пока я танцевал вокруг нее; приказов не слышала и не понимала – но она все-таки встала, а потом легла на место. Я был такой счастливый...

Наверное, мои упражнения кто-то видел. Слухи обо мне пошли гадкие запредельно – все старые сплетни теперь просто в счет не брались. Не верьте, что я забавлялся с трупами девиц! Честное слово, мне это и в голову не приходило. Я одно время готов был переселиться в избушку кладбищенского сторожа, чтобы вообще с кладбища не вылезать. Да, у меня порезы на руках не успевали заживать, но чтобы обольщаться сомнительными достоинствами покойниц... Идиоты! Когда кто-нибудь из рыцарей днюет и ночует в конюшне, про него почему-то не говорят, что он справляет грех с кобылами.

Поднятых трупов непосвященные жутко боятся – никогда не понимал: с чего бы? При дворе болтали об оживлении, о том, что трупы вожделеют живых женщин, что будто готовы разорвать на куски и сожрать каждого, кто их увидит... Ну, не бред?! Ничего они не хотят, тем более – всяких любовных глупостей. И есть не могут: как они, интересно, переварят пищу, мертвые? Поднятый труп – просто машина, часовой механизм, который заводит Дар. Некромант может им управлять, руководить, но сам труп просто вещь, как любая вещь. Душа его уже далеко, и на душу это никак не влияет – как на голову живой девицы не влияет то, что из ее остриженных волос сделали шиньон и кто-то его носит.

Нет, кусаться труп можно заставить. Зубы же у них есть, если при жизни от старости не выпали. Только мертвецу ведь все равно – терзать кого-то или репку сажать. Мертвым телом, как мужики говорят, хоть сарай подпирай. Но простые объяснения никого не устраивают. Всем кажется, что некромантия – дело страшное и таинственное, поэтому даже самые обычные процедуры в ней тоже таинственные и страшные. А в страшные сказки верится легче и охотнее, чем в будничную быль.

Меня окончательно окрестили Стервятником. И все время норовили намекнуть, что от меня мертвечиной несет. А может, когда и несло: бывало, придешь на рассвете, вымотанный, будто на тебе поле пахали, руки болят, голова чугунная.... Завалишься спать в башне в чем есть, и когда потом идешь мыться и переодеваться, то действительно не розами благоухаешь. Но ведь кто чем занят! От мужиков навозом пахнет, от рыцарей – лошадьми, от егерей – звенящим, от ловчих – псиной, и никто им в глаза не тычет. Но я ведь некромант! Я оскверняю могилы! Я нарушаю благородный покой умерших! Я – святотатец!

А они – святые.

Честно говоря, я не слишком ко всему этому прислушивался. Я занимался тяжелой, запредельно грязной работой и чувал, что когда-нибудь это очень и очень пригодится. Просто знал. И делал. И все.

А то вот еще вспомнил – забавно. Помню, зимой – мне восемнадцатый год шел – кладбище замерзло, поднимать из-под снега тяжело и холодно, так я не постоянно там ошивался. Находил себе занятия в тепле, чтоб и в сосульку не превратиться, и опыт не растерять. Так вот эти ослы из ночного патруля меня увидели: я поднял скелет из-под половиц в нежилом флигеле и заставил его плясать. Ух, какие были глаза у дуралеев! С яблоком. Чуть вообще не повылезли!

Потом от меня неделю все придворные шарахались, как от чумного. А Бернард мне рассказывал, что болтают, злил меня, смешил... А я только радовался, что поднял такой старый труп – сложно сделать так, чтоб он не рассыпался по дороге.

Веселое было время... Вот как раз тогда примерно Розамунда родила.

Сына. И его, натурально, назвали Людвигом. Я был против, но меня никто не спрашивал. Как водится.

Мне его показали один раз и унесли, будто я могу его перепачкать взглядом. Чистенький младенец. Без меток проклятой крови. Двор ужасно радовался.

И после родов моя прелестная супруга меня в опочивальне принимать не могла – поправляла здоровье. Ну и слава Господу. Я к ней днем зашел – принес ветки рябины с замерзшими ягодами и сосновые ветки. На удачу. Она это все швырнула на пол и сказала, чтоб я убирался к своим гнилым дружкам на кладбище.

И я убирался к гнилым дружкам. И неожиданно обзавелся настоящим другом.

Ночь, помню, стояла морозная – дышать больно, все внутри смерзается. Полнолуние. Красиво так снег блестит, словно парча, деревья все в инее, памятники на могилах тоже в инее – этакое парадное убранство. Я еще подумал – будто важных гостей ждем. Как в воду глядел.

Важный гость вышел из тени старого склепа и ко мне... не пошел, нет – потек, поплыл. Так ходят кошки, змеи ползают... Я моментально сообразил, с кем имею дело: Дар на него отозвался, как струна на камертон – чистым, точным, нежным звуком.

Я стоял – сердце ребра ломало, – задрал подбородок, руки скрестив, ждал, когда он приблизится. А он поклонился так, что снег обмел локонами. Потом поднял голову – и я с ним встретился взглядом.

Темные горящие рубины. Всевидящие очи Князя Сумерек.

Я протянул руку – ни в чем не был уверен, но блюл ритуал, – и он обозначил поцелуй. Руки у меня замерзли (я был без перчаток, чтоб чужая кожа не мешала в работе), но уста у него были холодней самого мороза, холодны смертным холодом. И в меня влилась его Сила через это лобзание. Если мой Дар похож на бушующий адский огонь, то его Сила показалась чем-то вроде ледяного ветра, втекла в мою душу, смешалась...

Я тогда почувствовал такое запредельное блаженство, что закричать хотелось. И такую мощь, что, кажется, резани я сейчас запястье – все кладбище встанет, а заодно – призраки, демоны, нечисть ночная, в ком больше мертвого, чем живого... Все преклонят колена. Меня в жар бросило, несмотря на мороз.

И тут он молвил – голос низкий, нежный, медовый, до самого сердца:

– Я вас приветствую, ваше высочество. Сумерки вас приветствуют. Мое имя – Оскар.

У меня в горле пересохло. Еле выговорил:

– Здравствуйте, Князь.

А он продолжает:

– Мы давно видим вас за работой, ваше прекрасное высочество. Вы до сих пор не обращались к Господам Вечности, занимаясь другими, безусловно более важными делами, и я взял на себя смелость привлечь ваше просвещеннейшее внимание к вашим неумершим подданным. Покорно прошу простить меня.

Я тем временем взял себя в руки, отдышался – и произнес:

– Я рад, что вы со мной заговорили, Князь. Это у меня промашка вышла, мне давно надо было побеседовать... с кем-нибудь из ваших... товарищей. Но я только пытаюсь учиться...

Тогда Оскар мне улыбнулся, как люди никогда не улыбались – кроме Нэда, может быть, – и сказал:

– Ваше высочество, вам не в чем себя упрекнуть. Вы юны, а в городе нет ни одного некроманта, который мог бы хоть отчасти помочь вам в постижении тайн вашего Дара, к тому же, насколько нам известно, смертные весьма мешают вашим поискам сокровенного знания. Я – один из старших Князей Междугорья – покорнейше прошу вас, ваше высочество, позволить мне чуть-чуть, в меру моих скромнейших сил и ничтожных познаний возместить вам отсутствие наставника-человека...

Как я его любил в тот момент, как был ему благодарен – нет слов описать. Я бы ему на шею бросился, не будь он таким невероятно церемонным. Милый Оскар, замечательный неумерший, просто вот так пришел и подарил. Мне так редко делали подарки – я бы отдался чем угодно.

Я ему сказал:

– Дорогой Князь, я буду счастлив воспользоваться вашим предложением... Может, я могу что-нибудь для вас сделать?

Оскар тряхнул темными кудрями, улыбнулся – только клыки в лунном свете блеснули, крохотные такие кинжалы, отлитые из сахара.

– Ваше высочество, ваше общество и ваше доверие – такая неописуемо огромная честь для меня, а близость вашего Дара – такое редкое наслаждение...

Тогда я подумал: он хочет греться моим огнем. Нормальное желание – погреться. Я ему это с удовольствием устрою. Я это очень хорошо понимаю.

И в его речи нет никаких двойных подкладок. В любом трактате по некромантии подчеркивается: мертвые не лгут. А неумершие не лгут своим сюзеренам.

Не верьте слухам, что я поил вампиров кровью детей своих врагов. Еще одна глупая ложь, и распространить ее мог только олух, который ни малейшего представления не имеет, что за существо такое – неумерший. Вечные, конечно, называли себя моими вассалами – но были-то ими чисто номинально. Я – сильнейший некромант на территории государства, в котором они обитают, поэтому теоретически – их государь. Но я им никогда не приказывал.

Если трупам нужно только приказывать, демонам можно приказывать с оглядкой на казуистику Той Самой Стороны, иначе твой приказ тебе же и выйдет боком, а мелким тварям вроде упырей имеет смысл приказывать, повышая голос, то совершенно невозможно приказывать Вечным Князьям, Господам Сумерек. Это все равно что попытаться приказать смерти, кого ей забрать, а кого оставить.

И с тем же успехом.

Единственный настоящий король вампиров – судьба. Они слушаются только ее и только по ее указаниям, скрытым от смертных, выбирают жертву. И пытаются поить вампира чьей-то кровью по своему произволу – все равно что предложить брату из Святого Ордена переспать с чьей-нибудь женой по твоему выбору. Выйдет совершенно одинаково: делать это, они разумеется, не станут, зато оскорбятся в лучших чувствах и, уж во всяком случае, не будут после этого хорошо к тебе относиться.

А мне хотелось, чтобы неумершие меня любили. Слабая компенсация за нелюбовь людей. Поэтому я из кожи вон лез, чтобы не сделать какой-нибудь неловкости. И не делал. Только то, что они принимают. Только то, что им нравится. И они выражали признательность очень приятным образом.

Сидишь, бывало, в обществе Оскара и пары-тройки младших вампиров из его клана в кабинете, у камина... На их ледяных ликах отсветы огня пляшут, и в очах у них – теплые искры, и позы расслабленные, как у пригревшихся кошек. Если прищуриться и не обращать на Дар внимания, то будто с людьми болтаешь. Хорошо.

Оскар не первый раз за свое четырехсотлетнее бытие имел дело с некромантами. И общался с ними, бывало, и тайное знание изучал, так что опыт имел немалый. Вот разве что дружил не часто. А я ему приглянулся, и он меня учил таким вещам, в которых книги не подмога: направлять Дар, прикрываться им, распределять, превращать острие Дара в клинок для точного удара или в несущуюся волну – если нужно сражаться с толпой или поднять несколько трупов. Он чувствовал по-другому, но, когда начинал показывать, я понимал моментально. И для меня каменная стена древнего знания, об которую я колотился башкой уже несколько лет, сначала стала прозрачной, а потом постепенно начала таять и сходить на нет.

И еще – вампиры меня усиливали. За то, что я их грел, они несли мне Силу, которую собирали убийствами, а я эту Силу впитывал и наполнял ею Дар. Дурацкий ошейник на мне почернел и оплавился, но этого никто из батюшкиных людей не замечал. Ошейник и ошейник.

На месте, не избавился я от него – значит, все в порядке. Что им, в самом деле, разглядывать меня, что ли...

В городе обо мне болтали, что я брал вампиров в постель. Ну, это ж святое: меня вообще сватали со всеми силами, с которыми я имел дело. Кроме, кажется, драконов, да и то по причине слабого воображения. Надо же объяснить, как развлекается мужчина, который не шляется по непотребным девкам, тем более мужчина с моей славой. Никто же не знал, что меня при мысли о постели просто мутит – после супружеской-то спальни. Мои прегрешения с неумершими – это тоже, конечно, неправда.

Даже не знаю, к сожалению или к счастью.

Вампиры не делят ложе с живыми, а уж с некромантами – в особенности. И тем и другим это одинаково неприятно: как если бы уложили в постель ледышку и головню. Любви не выйдет – будет больно.

Правда, мои неумершие подданные, существа очень чувствительные к одиночеству, старались меня приласкать на свой лад. Главное проявление нежности, преданности, благодарности и всего остального у вампиров – поцелуй. Они мне руки целовали. Потом, когда я уже осмелел и освоился с ними, я иногда позволял Оскару – но только Оскару, самому верному, самому близкому ко мне и самому старшему, – поцеловать меня в шею, в то место, где кровь бьется под кожей. Выражение запредельно полного доверия, величайшего, на которое только способен человек, общаясь с неумершим. Опасное удовольствие. Он чуть прикоснется устами – а ощущение такое, что Сила прошибает насквозь, как молния.

Я для старого вампира был – талантливый мальчик, воспитанник, и ему это импонировало. Мы с Оскаром действительно очень близко сошлись – насколько вообще смертный может дружить с Вечным, не теряя достоинства. Смешно сказать, но дружба вампира – штука не менее рискованная, чем его неприязнь. Я знаю, Оскар не плел никаких интриг. Но его иногда заносило. Как-то раз, например, он предложил мне своей крови – братский союз.

Соблазн меня чуть не убил. Я спать не мог, не только губы – руки себе в кровь искусал, размышляя. Хотелось невероятно. Но я отказался.

Прими я этот подарок – принял бы вместе с колоссальной мощью и зависимость от Сумерек. Как ни будь силен некромант, а Сумерки в конце концов все равно согнут его под себя. И все – ты уже вне мира людей.

Я не мог отказаться от людей.

Я не питал иллюзий: люди ненавидели меня. А я... Не знаю, уж наверняка не любил их, но меня к ним влекло. И я все время ловил себя на мысли, как буду использовать Дар, когда стану королем. Как человек. Для людей. Для своего Междугорья, а не для Сумерек. Так и объяснил Оскару.

Оскар меня понял. Огорчился, но не настаивал. Вампиры независимы и тактичны. Он даже не прекратил делать мне маленькие любезности.

Мне, например, нравилась Агнесса, одна из его младших учениц. Девы-вампиры обычно выглядят опасно, дико, будто стихия, облеченная плотью, а Агнесса была тихонькая, ликом нежная и с прекрасными кудрями цвета темного янтаря, волнистыми, как руно, длиной по самые бедра. Оскар знал, что она мне нравится, брал ее с собой. И мы, бывало, сидели в креслах у огня, а Агнесса устраивалась на низенькой скамеечке около меня. Клала головку мне на колени, и я ее волосы перебирал.

Она совсем юная была, Силу имела такую прозрачную, еле заметную – струйка поземки при слабом ветре. Отвлечешься – кажется, что рядом живая девушка. А вот поднимет головку – очи как темные вишни, и лик фарфоровый, белый, прозрачный, неподвижный, прекрасный, но неживой – так вся иллюзия и пропадает. С ней мы не были близки, само собой, но чуть-чуть друг друга грели. Спустя небольшое время мой Дар сделал ее одной из самых сильных дев в клане Оскара – за ее нежную дружбу.

Так что вампиров я отстраненно и осторожно, но все-таки любил. От неприкаянности. И за то, что они видели мое внутреннее естество, а не пытались судить по жалкой внешности. И через некоторое время я отлично их понимал. Они тоже зов моего Дара слышали.

Я бы пригласил их к своему двору, но...

Одна из главных заповедей неумерших – Сумерки кончаются с рассветом. Вампиры в человеческую политику не лезут. Одно дело – личная симпатия, а другое – служба. Вампиры не служат. Я только надеялся, что в критический момент смогу позвать и они придут на помощь из симпатии.

Тоже совсем неплохо.

Ведь их дружба уже приносила мне немалую пользу. И даже через некоторое время от их Силы, от их прикосновений кожа у меня на морде выравнилась, прыщи исчезли, как вымерзли. Намного красивее я не стал, но мне и этого было довольно для скромной радости.

Обо мне, конечно, начали болтать, что я, мол, душу продал за сомнительные изменения своей мерзкой наружности, но я уже не удивлялся и не злился. Послушать горожан, так у меня целая куча душ имелась на продажу. И я просто занимался своим делом, не обращая внимания: собака лает, ветер носит. На этом меня и застали те события... Которые, как говорится, меняют лицо государства.

Папенька мой, здоровый по-бычьи, болел чрезвычайно редко. И поэтому был невероятно мнителен. Стоило ему слегка простудиться или съесть какую-нибудь бяку – сразу отправлялись гонцы в монастырь Святого Ордена в Полях, где жил его духовник, а все лекари, знахари и прочие шарлатаны поднимались по тревоге. Такие приступы ипохондрии повторялись примерно по разу-двум в год и меня не тревожили. Я не сомневался, что жизненных сил у батюшки хватит на то, чтобы портить мне кровь еще достаточно долго.

Что бы обо мне ни болтали, убить отца я был не готов. Ради власти, ради трона, из мести, для пользы короне, ненавидя его, презирая, не готов был – и все. Единственный момент, когда я сделал бы это без колебаний и угрызений совести, это когда папенька, не слушая меня, приказывал казнить Нэда. Но тогда я не смог, а теперь... не думалось об этом.

Откровенно говоря, я ожидал, что батюшка проживет еще лет десять – пятнадцать. Что я тем временем буду спокойно учиться, копить силу, оценивать обстановку – и, надев корону, сразу превращу Междугорье в величайшую из империй мира. Я чертил вокруг своих тарелок каббалу, оберегающую от яда, и надеялся избежать стрелы и кинжала в спину, потому что мне вроде бы было обещано, что хоть один день, да я посижу на троне.

Но человек предполагает, а Господь располагает.

Папенька приболел в конце моей вампирской зимы. Я еще ничего не успел.

Во дворце начался обыкновенный базар с раздраем: появилась толпа священников, повсюду бегали лекари с банками, пучками трав, горчичниками и прочими припарками, нищим раздавали милостыню, дамы в ужасе рыдали, кавалеры ходили на цыпочках и говорили шепотом.

Поскольку вампиры нутром чувствуют дыхание Предопределенности, я спросил Оскара, не собирается ли кто из неумерших отпустить моего батюшку. Просто на всякий случай спросил, для очистки совести. И Оскар ответил очень категорично, что душа государя проводника к Божьему престолу не звала, а потому мой порфириноносный отец скоро встанет на ноги.

Я даже порадовался в глубине души.

Но тут явилась тень Бернарда с докладом. И доклад привел меня в отчаяние.

– Папенька-то ваш сегодня утром проснулись, ан грудку у них и заложило. Кашель напал – страсть. А прокашлявшись, они, вестимо, послали за лейб-медиком и так изволили гневаться... Ты, кричали, такой-сякой, у меня чахотка начавшись, а тебе и нуждочки нет... Ему уж

все вокруг в один голос поют: государь, мол, батюшка, какая может быть чахотка, чай, ветерком в горлышко дунуло, а он все о своем. Умираю, мол. И послали за духовником.

– Он, значит, завещание составил? – спрашиваю.

– Истинно так, ваше драгоценное высочество. Истинно составил. Розовый Дворец с пшеничными полями – вашей маменьке, Медвежью Башню с охотничьими угодьями – дядюшке, Скальный Приют и виноградники – супруге вашей. Медовый Чертог – вашему братцу двоюродному. Озерный Домик – младенчику, когда тому шестнадцатый годок пойдет. Сокровища – родственникам по малости. Рубиновый венчик с алмазной звездочкой...

– Погодите, – говорю, – погодите, Бернард. Мне, значит, по этому завещанию полагается по миру с сумой побираться? Я ничего особенного не ждал, но чтоб так явно и неприлично...

– Вам – городской дворец, что нельзя никому передать, кроме как старшему в роду. Библиотеку, уточнили, вам – особливо. Короны-то батюшка ваш раздали, а об вас, ваше высочество, так изволили сказать: коли ему корона нужна, пусть свою заказывает али из мертвых костей себе соберет. Коли, молвили, ему дрянные-то книжки любее бриллиантов, так пусть себе книжками блеск престола посылно обеспечивает. В одно слово так, ваше высочество.

– Понятно, – говорю. – Благодарю вас, Бернард.

– Так ведь не все еще, ваше высочество.

– Все уже понятно. Что еще-то...

– А когда они диктовать-то кончили, грудку-то у них, видно, полегчило. Так они изволили улыбнуться и молвить, что, мол, коли они, паче чаянья, останутся на белом свете жить, то уж станут Господу угождать. На Святой Орден пожертвуют да прикажут, чтоб остроги отомкнуть и колодников-то на волю выпустить, а также и каторжников тоже, что руду добывают... А потом поразмыслили в уме своем и добавили, чтоб не всех, конечно, колодников, а тех только, кто государя не хулил и в предосудительных чтениях не замечен. Коли проще сказать – воров да разбойничков... Маменька ваша изволили прослезиться от умиления, а иные-прочие крепко призадумались...

И я тоже крепко призадумался. Я просто сел и обхватил руками голову, которой хотелось биться об стенку. Жалел только, что нельзя постучать об стенку башкой кое-кого другого – чтобы в трещины ума хоть сколько-то вошло.

Я хорошо знал, какая у нас в Междугорье обстановка с разбойным людом. На Советах об этом не слишком много болтали, зато в частных беседах только и чесали языки. От лесной вольницы житья не было, а бригадир жандармов, по слухам, брал с воров налог на право спокойно работать. А когда по папочкиному проекту тысячи этих бедняжек, которых неким чудом удалось-таки заставить вкалывать а благо короны, выйдут на волю, голодные и злые... Если король-отец поправится.

Я не хотел его убивать. И уж, во всяком случае, не наслаждался происходящим. Но меня приперли к стенке.

Пропади оно пропадом, мое наследство! Мне в любом случае не светило получить много. Но меня грызла мысль: а что если он выздоровеет, распустит по стране ворюг, а после этого свалится с коня или еще как-нибудь сыграет в ящик? Что я тогда буду делать? Мне же и так остается не государство, а загаженный свинарник, у меня и так будет непочатый край работы. И нечем платить исполнителям. Да еще и разбойников я получу на свою голову?

О, если бы я мог решить, что это его каша и ему ее расхлебывать!

Не получалось. Я слишком хорошо знал, что мой батюшка не расхлебает. И пока жандармерия возится с ворьем, кто-нибудь умный попросту на нас нападет и в очередной раз откусит кусок нашей территории.

Меня тошнило от этих мыслей. Я двое суток не мог спать, не мог жрать, и все валилось из рук. Я ждал, что будет. В глубине души я надеялся, что батюшка одумается, когда у него спадет лихорадка.

Не одумался. Через двое суток он сидел в большой приемной, сияя, как надраенный медный пятак. Обожающие придворные не могли на него налюбоваться.

А батюшка вещал:

– Вот что значит Божий Промысел! Государь должен быть милосерд, и для осуществления милосердия мне оставлено мое земное существование!

А я думал: лучше бы ты печной налог снизил и провинциальным сеньорам чеканить свою монету запретил. Из милосердия.

Я терпеть не мог говорить в толпе, но он не ловился с глазу на глаз. Поэтому я все-таки сказал против всех своих правил:

– Государь, прошу нижайше, может быть, вы все-таки еще подумаете над этим решением?

На меня зашикали со всех сторон. А батюшка побагровел и взревел на весь зал:

– И ты смеешь мне об этом говорить, Дольф?! Ты, стервятник, жестокосердная тварь! У тебя, я вижу, все внутри переворачивается, когда кто-то желает угодить Богу и людям! Ты хоть одну минуту можешь не думать о зле, выродок?!

– Я хотел бы объяснить свою точку зрения...

Я еще очень хотел договориться. Но мне не удалось в свое время спасти Нэда. И теперь я не мог спасти... Не дело некромантов – спасать.

У меня и вправду все внутри переворачивалось.

А папочка сощурился, выпятил подбородок и процедил сквозь зубы:

– Ты думаешь, просвещенного правителя интересует мнение некроманта? Да я ночей не сплю от горя, думая, что ты наследуешь престол моих предков! Будь уверен, милый сын, я найду способ обойти закон первородства. Я написал письмо Иерарху Святого Ордена. Посмотрим, что он ответит.

Придворные захихикали. А я...

Меня это известие чуть с ног не сбilo. Он завещает трон кузену. Или – Людвигу Младшему, как ему Иерарх присоветует. А мне придется узурпировать власть, свою собственную корону – через кровизицу и еще неизвестно что... Это если меня не зарежут, когда буду очередной раз ночью возвращаться с кладбища.

Справедливость и милосердие.

И я посмотрел ему в лицо. А он крикнул:

– Да я сегодня же подпишу приказ об освобождении!

И тогда я собрал Дар в луч, в тонкий клинок, почти в спицу – и воткнул ему в горло. А потом провел ниже, к груди, где еще чувствовал остатки его простуды – красное горячее пятно. У меня на душе было скверно.

И мой бедный батюшка захрипел и начал кашлять. К нему все бросились, лекари прибежали, притащили тазы, тряпки – а он все кашлял, задыхался от кашля, захлебывался. Кровь пошла горлом, а он кашлял, кашлял...

Мне хотелось сбежать из этого зала, спрятаться где-нибудь, и отреветься, и кусать пальцы, и проклясть и Дар, и мою детскую просьбу Той Самой Стороне, и мою поганую судьбу... Но я стоял и ждал.

Меня подтолкнули в спину, и я преклонил колена, и отец смотрел на меня бешено и кашлял, и на губах у него выступила кровавая пена, раздувалась пузырями, а он хотел меня проклясть, но не мог – я заткнул ему рот этим кашлем.

И он показывал на меня дрожащей рукой, и все кивали, а он уже не кашлял, а хрипел. А потом глаза у него закатились и помутнели.

Потом я стоял на коленях возле трупа и плакал. Навзрыд. Над отцом, над Людвигом, над Нэдом – и никак не мог остановиться. И все стояли вокруг кольцом и молчали, потому что тот предсмертный жест короля можно истолковать как угодно, а приходилось толковать в мою пользу, потому что отец тоже ничего не успел.

И я ощущал ненависть двора всей спиной, но мне было все равно. Наверное, если бы в тот момент кто-нибудь захотел меня убить, у него бы это вышло. Не знаю. Никто не попытался.

На всех напал столбняк.

И тогда я сказал:

– Мой несчастный отец ошибся. Его решение было не угодно Богу. Поэтому приказа не будет. Позовите монахов, надо позаботиться о теле.

В гробовой тишине кто-то нервно хихикнул. И я подумал, что он, наверное, сейчас представляет, как я поднимаю труп короля. Может, сплясать его заставить?

И тоже вдруг почувствовал, что меня душит хохот. Истерика.

Я щеку изнутри прокусил до крови, чтобы успокоиться. И у меня был крови полон рот, когда я сжег Даром свой дурацкий ошейник. А батюшкина свита стояла и смотрела, как освященное серебро пеплом рассыпалось, с моих плеч сыпется и как я отряхиваю этот пепел, а он жжет мне руки.

Я сплюнул кровь, и все посмотрели на красный плевок на полу с ужасом. И я сказал:

– Я – некромант – наследую престол. И приказываю позвать монахов. Слышите?!

В этот раз они расслышали.

Похороны утомили меня до полусмерти, все силы вытянули.

Погода, помню, стояла мерзкая, тяжелая такая оттепель, пасмур, сырость, грязь... Тучи прямо на башнях лежали, мокрый снег валил, и воздух был пропитан влагой – на виски давил. И вся эта мрачная суета...

Маменька ко мне приходила плакать и молиться. Бранила меня на чем свет – грозилась в монастырь уйти, но не ушла, уехала в дареное имение. За ней ее имущество везли на целом караване повозок. Ей, вроде бы, теперь полагалось всю жизнь в трауре ходить, но она свои церемониальные тряпки и украшения прекрасно забрала с собой. Несколько сундуков с золотом, бриллиантами и прочим подобным. А нищим опять кидала медяки из кошель, милосердная моя...

Розамунда очень официально попросила у меня разрешения уехать с моей матерью. Сухо, но вежливо.

– Я полагаю, государь, – сказала, а слово «государь» выделила красным, как в летописи, – что младенцу будет полезнее деревенский воздух. Если, конечно, вы не станете возражать.

Я не стал. В этом был резон. Воздух во дворце, действительно...

Я даже не то имею в виду, что отчаянно разило заговорами всех мастей и что мне никто не рвался прийти на помощь – ни канцлер, ни казначей, ни церемониймейстер. Разве только у камергера совесть проснулась: простыни мне стали чаще менять, камин топили нормальными дровами и манжеты с воротниками теперь крахмалили по-человечески, а не так, как раньше. Но это – мелочи.

Я говорю о том, что спать откровенно боялся. Раньше, будучи принцем, не боялся, а теперь был уверен – непременно попытаются прикончить. И никого не мог взять в спальню, чтобы душу погреть, и никому не доверял, а гвардии не то что свою жизнь – пустую скорлупу не доверил бы. Вся дворцовая гвардия была куплена – к бабке гадать не ходи. В розницу. Всеми, кто имел хоть мало-мальскую тень прав на престол.

Верный мой Бернард ничем мне помочь не мог – он даже пугнуть бы никого не мог, невидимый для большинства смертных. Разве что разбудить меня. Но это же не всегда решает дело: в драке я никогда не отличался, и владеть оружием меня не учили, а Дар спросонья

не применишь. Обращаться к Оскару я не посмел. Как-то неловко показалось: «Князь, все брось, беги меня охранять», – так, что ли? Он ведь и так ко мне пришел той ночью, когда отца бальзамировали. Пытался утешать, поцеловал... Милый друг, утешение метели, нежность мороза...

Поэтому я решил устроить себе охрану довольно радикального толка. Привел двор в такой ужас, что светские кавалеры не могли шляпы носить – волосы дыбом стояли.

Я поднял шестерых свеженьких светских мальчиков, убитых на дуэлях. То есть таких, которые умели держать мечи, с гарантией. И поставил – двоих у дверей спальни, двоих – у окон. И еще парочку – патрулировать коридор. Земля была мерзлая, сохранились они славненько – и службу несли на зависть гвардии. Я их вооружил, придел – прелесть.

Но воздуха они, конечно, не озонировали. Я уже давно привык, а вот дворцовая челядь...

Моя бельевщица отказалась в спальню заходить наотрез, пока я оттуда караул не убрал. И то косилась. Но игра стоила свеч: в ночь перед коронацией я проснулся от шума за дверью. Выскочил, в чем был, но живые уже удрали. А из стражников пришлось кинжалы выдергивать.

К тому же утром я еще пару стрел выдернул из тех, кто у окна. И подумал, что все сделал правильно. Разве что одному моему вояке выбили глаз, и я дал ему отставку и уложил в могилу с почестями, а поднял новенького. Так с мертвой свитой и вышел, когда сообщили, что меня ждет святой отец.

Придворные мои замечательные, конечно, особенного восторга не почувствовали. Сразу схватились за надушенные платочки, и кто-то блеванул под ноги священнику, а кто-то кинулся прочь опротивев – уже и коронация не нужна, на моих мертвых ребяток смотреть невыносимо. А священник побледнел, сглотнул, позеленел и выдал вперемежку с тошнотой:

– Государь, да как же вы могли перед всем двором, перед причтом – и вытащить такую погань?! Священный обряд – и рядом святотатство, осквернение могил...

А я хлопнул по плечу того дружка, на котором трупных пятен поменьше, а на втором задрал рубаху и говорю:

– А что мне остается, святой отче? Изрядная часть здесь присутствующих предпочла бы, чтобы дырки переместились с его шкуры на мою. Но мертвому-то все равно, а мне пока что – нет. Каждый король выбирает себе охрану сам – вот я и выбрал. Они, святой отче, меня предать не могут. Им нечем. У них душ нет. И я им доверяю.

И пока я это говорил, живые аристократы на меня смотрели бешеными глазами – непонятно, больше от ужаса или от ненависти. А священник только оценил дырки в мертвой плоти – старые и посвежее – и головой покачал. Но не нашелся, что ответить.

Так они меня и сопровождали в храм, а потом на главную площадь – вместо гвардейцев. Шесть трупиков в гвардейской форме. А народ глазел и, как говорится, безмолвствовал.

Ни одна живая душа не вякнула. И коронация прошла без инцидентов, а присяга потом – тоже.

В гробовом молчании – но без инцидентов.

А после коронации и присяги наши отношения с двором забавно изменились.

Ясное дело! Раньше я был опальный принц, а теперь – законный государь, какой ни есть. Мне присягнули. А это уже совсем другой коленкор.

Если раньше за моей спиной шипели и плевались, то теперь не смели. Теперь – начали пресмыкаться. Выхожу утром, бывало, поздно, потому что уже перед рассветом лег, а церемониймейстер, змея, тот самый, растягивает рожу в улыбке, будто он мертвяк и ему приказали улыбаться, и поет:

– Государь, вы прекрасны! Надеюсь, вы хорошо выспались?

Канцлер с премьером пол шляпами метут. Казначей – все тридцать два показывает, глаза дикие, рожа чудовищная:

– Рад вас видеть, государь. Всегда к вашим услугам, государь.

Дядя, принц Марк, приедет к визитным часам, руки раскинет по-родственному и пытается обозначить объятия, как вампиры поцелуи обозначают – не прикасаясь:

– А, дражайший племянничек! Ну, как ваши дела, дорогой Дольф, как вы поживаете?

А мой кузен, Вениамин, изящный рыцарь с шелковым платочком за обшлагом, обниматься, конечно, не лезет, но улыбку делает и поклон отвешивает:

– Вы хорошо выглядите, дорогой братец.

А я слушал все это слащавое вранье, и меня мучило. Мне за два дня эта проституция опостылела больше, чем их ненависть – за всю жизнь. И на первом же Большом Совете после коронации я решил расставить над все точки.

– Я, – говорю, – господа, не питаю иллюзий насчет вашей любви. И не принуждало вас себя насиловать и говорить мне комплименты, в которые вы и на волосок не верите. Я не дама на балконе, в сладких речах не нуждаюсь. Давайте лучше беседовать откровенно и по делу.

Как они загалдели! Вся беда, мол, была в том, государь, что ваш батюшка был чересчур резко настроен. А то ваши верные подданные, мол, раньше выразили бы вам свое совершеннейшее почтение и преданность. Теперь вы у власти, и все ваши верные слуги могут сказать начистоту, как они вас любят и как всегда любили.

А я сидел в королевском кресле, слушал, как они подличают, и думал, что они, наверное, на самом деле не хотят обмануть меня и что-то этим выиграть. Они подличают просто по обычаю и из любви к искусству. А раз так, то пусть развлекаются и впредь.

Если смогут.

И я сказал:

– Мне подобает речь о преемственности власти. Так вот, подражать отцу – не буду.

И наступила тишина. А за улыбками проступили настоящие лица. Тех, кто меня по-прежнему ненавидел.

– Мне нужен отчет о состоянии казны, – говорю. – О положении в провинциях, о налогах и податях, о стычках на границах – и не так, как раньше, а честно. Вы знаете, я – некромант. Мне служат Те Самые Силы. Я могу и прямо у них спросить.

Их пробрало до костей. Я не так уж и хорошо разбираюсь в людях, но у них заметно вытянулись лица. И побледнели. И глаза вытаращились. И, я думаю, каждый из них решил обезопасить себя от моего гнева.

А для этого при любом дворе существует проверенный способ. И они этот способ применили.

Они принялись поливать друг друга дерьмом. В таком количестве, что я просто диву дался.

Казначей не взял бы гроша из казны, и она была бы полнехонька, если бы канцлер его не принуждал.

Канцлер всегда говорил, что на подкуп иностранных дипломатов и на прочую внешнюю политику требуются бешеные деньги, а сам купил замок на юге у разорившегося семейства и за год превратил его в райское местечко с фонтанами, арбузами и оркестрами. А надежный мир с соседями так до сих пор и не заключен.

Канцлер потратил на замок деньги своей покойной тетки. И вдобавок оплачивал все дипломатические миссии из собственного кармана. Потому что премьер с казначеем делили большую часть королевского дохода между собой, а на остальные нужно было как-то содержать двор. А если бы канцлер вместо премьера не занимался содержанием двора, то мои бедные родители с голоду бы умерли.

А премьер вынужден как-то откупаться от этих бандитов – канцлера и шефа жандармов, у которых ничего святого нет. А самому премьеру есть нечего и дочери на приданое не хватает.

А шеф жандармов берет взятки с разбойников, большая часть которых – люди принца Марка, который дерет с живого и с мертвого.

А на границах безобразия, потому что мечи ржавые, лошади старые, а тетива на арбалеты идет гнилая. И все потому, что маршал имеет обыкновение каждой своей девке дарить перстень с бриллиантом, а девок у этого жеребца бывает по трое в ночь...

Я слушал все это и смотрел, как они вошли в раж, и машут руками, и оскаливаются, и брызжут слюной, и сулят кары небесные, а потом врезал кулаком по столу. И они, видимо, вспомнили, что я – некромант, потому что, будь я просто король, им было бы плевать.

Но они вспомнили и притихли. А я сказал:

– Мы будем разбираться по порядку. И очередь дойдет до всех. Поэтому не надо вопить. Успеете.

И пронаблюдал, как у них на мордах выступил холодный пот. Но они, по-моему, честно это заслужили.

Потом у меня было очень много работы.

Требования я имел самые скромные: мне хотелось порядка. Но это оказалось целью почти недостижимой. Мои подданные сопротивлялись мне изо всех сил, потому что в состоянии порядка очень тяжело воровать.

И самое противное, что я понял, взойдя на престол, – казнь любого явного вора из Большого Совета ничего не решает. На нем так много всего держится, у него так много связей, что, если его убить, эти оборванные нитки придется связывать годами. И мне приходилось...

Ох, мне приходилось...

Убеждать. Угрожать. Нажимать.

Я знал, я с раннего детства очень хорошо знал, что любовь подчиненных как средство предотвращения воровства не действует. Они обожали моего отца, но это им воровать не мешало. Даже помогало.

У короны или у Междугорья – все равно. Потому что своя рубашка ближе к телу. Но я не мог им этого позволить: мне кровь из носа нужны были деньги.

Я плевать хотел на придворные пышности. Но я намеревался наладить дела внутри страны и вытряхнуть из карманов наших соседей то, что они у нас за сотни лет награбили.

И еще я хорошо помнил, на что способен страх. И решил пугать их до ночного недержания. Чтобы им и в голову не пришло вякнуть.

Мне хотелось лично контролировать все Междугорье, но путешествовать было не на чем – от меня шарахались лошади. Ну, бояться они трупного запаха, что поделаешь! Для своих телохранителей я в случае необходимости поднимал палых лошадей. Но сам я не люблю слишком уж тесной близости с трупами, и для себя придумал кое-что получше. Попросил Бернарда разузнать, кто в столице лучше всех набивает чучело из охотничьих трофеев. И когда он мне сообщил, я за чучельником послал. Послал живого человека с указанием вежливо пригласить мастера во дворец.

Мужик пришел. Приятный такой, помню, бородатый перепуганный дядька. На меня смотрит, и ноги у него подгибаются.

– Ва-ваше, – бормочет, – ва-ваше просвещенное величество... не представляю, чем могу...

Тогда я живых придворных из приемной высрал. Всех, оставил только мертвый караул в дверях. И говорю ему:

– Ты, почтенный, не нервничай. Ни о чем ужасном просить не стану. И если сумеешь угодить – хорошо заплачу. Ты мне скажи вот что. Было когда-нибудь, чтоб кто-то из знати тебя просил из простой зверюги чучело сделать повнушительнее? Для хвастовства?

Он посмотрел внимательно – и, похоже, понял:

– Это, – говорит, – вроде громадного волка, да? Или медведя больше человеческого роста?

– Вот-вот, – говорю. – Делал?

Он так осмелел, что даже ухмыльнулся.

– Ох, и делал, ваше величество! Самых что ни на есть страшных зверей. И клыки, бывало, вставлял в палец длиной, и когти делал железные... Случалось, как же...

– А мне, – спрашиваю, – сделать можешь?

Он уже в полную силу ухмыльнулся, даже про мертвецов у дверей забыл. Чучельник свой человек – тоже со смертью дело имеет, сердце закаленное, спокойный малый.

– Позабавиться, – говорит, – желаете, ваше величество?

– Да, – говорю, – милый друг. Сделай мне вот кто. Возьми вороных жеребцов... пару. Или трех. И сделай мне из них чучело такого коня... пострашнее, повнушительнее. Можешь ему в пасть клыки вставить, можешь в глазницы – красные стекляшки или там – копыта железом оковать... Короче, чем жутче выйдет, тем лучше. Как тебе фантазия подскажет. Но чтобы на такого Тому Самому сесть было не стыдно. Заплачу пятьдесят червонцев, а если очень понравится – еще и прибавлю.

Тут он совсем расплылся. На такие деньги при разумном подходе мужику год можно прожить.

– Может, – говорит, – ваше величество, у вас какие особые пожелания есть?

– Особое, – отвечаю, – только одно. Внутри должны быть кости. Настоящие кости настоящей лошади. Все. А остальное – тебе виднее.

Он замучился кланяться, когда уходил. Похоже, вообще не чаял живым выйти из моих покоев. Молва мне такую славу создала... Но чучельник больше не боялся.

Работал неделю. А через неделю мне привезли конягу. На телеге, под парусиной. Загля-
денье! В полтора раза больше обычной лошади. Роскошная грива – до земли. Голова – череп с клыками, обтянутый шкурой, глаза красные, дикие. Во лбу – стальной крученный рог. На груди и по бокам – стальная кованая чешуя, как у дракона. Копыта тоже стальные и раздвоенные, вроде козлиных. Взглянешь на него – оторопь берет. Я восхитился.

У меня денег было не в избытке, но я мужику сотню отдал, не пожалел. И пожаловал придворную должность – лейб-чучельник. Понял: он точно мастер. С выдумкой. И может мне еще понадобится.

А когда он ушел, я поднял чучело. Чучело – тот же труп, особенно если кости внутри. И жеребец прекрасно встал. Чудесный, не гниющий поднятый мертвец.

Я назвал своего игрушечного конька Демоном – для себя, конечно, ему-то кличка ни к чему, мешку с опилками, – и теперь ездил на нем верхом. Когда моя свита в города выезжала – улицы пустели, такие мы были внушительные. Аллюр у моего вороного вышел механический, мерный, как у машины с пружиной – совершенно неживой, зато очень быстрый. Дивная идея: жрать ему не надо, отдыхать не надо, увести никто не может, потому что мой Дар его движет. К тому же ни в какой битве подо мной коня не убьют, с гарантией.

Чтобы поднятого мертвеца уложить без Дара, его надо сжечь. Потому что, даже если на части его раскромсать, части будут дергаться, пытаться довыполнить приказ.

Впрочем, к делу.

Теперь расстояния в королевстве для меня сократились вдвое. И я смотрел на свою страну.

Правда, и страна тоже смотрела на меня. Ужас летел впереди. Паника. У меня в свите были живые и мертвые попеременно – хотя что это я болтаю? Мухи, если по чести, все-таки были отдельно, а котлеты отдельно: трупы – рядом со мной, а живые – поодаль. Я своих мертвых гвардейцев периодически менял – зимой реже, летом чаще, но свеженькие меня повсюду

сопровождала, потому что живым я, хоть они разбейся, не верил, не верил, не верил! Никакой их лести не верил. Знал, что никакой страх их не заставит говорить правду, когда речь идет об их выгоде. А мертвые не продаются и не врут. Поэтому меня и сопровождали мертвые, а Междугорье задыхалось от ужаса.

Я увидел провинции, о которых не имел понятия, потому что в мою голову с детства было крепко вколочено: Междугорье – это столица. Я увидел провинции, и мне стало тошно, я был не готов к такому, а они так жили столетиями и привыкли так жить, и им было не плохо, и не гнушно, и не страшно.

Я им казался гораздо страшнее, чем их жизнь. Я был неожиданный и новый, а весь будничный ужас в их городах – привычен. Идвигающиеся мертвецы, оказывается, для моих подданных страшнее, чем смерть близких.

Я увидел города, утонувшие в грязи и дерьме, подыхающие от голода. И слышал от их бургомистров, которые зеленели от страха, когда встречали меня, что они платят мне налоги, о которых я никогда не слышал. Что с мужичья здесь дерут последнее, чтобы расплатиться со столицей... Клянусь Богом или Той Стороной: эти деньги шли не в казну, а в карманы мелкой сволочи, говорившей от моего имени.

И я вешал мелкую сволочь и сообщал горожанам, сколько с них в действительности следует. Но они не верили и содрогались от страха. Они верили сволочи больше, чем мне: сволочь-то своя, живая, теплая, понятная, в отличие от государя-чудовища. И потом обо мне же говорили, что я беспощаден даже со своими верными слугами.

Я насмотрелся на казни, вершившиеся моим именем, и на произвол, вершившийся моим именем. Приказал запороть кнутом до смерти судью, который творил что хотел, ссылаясь на мои несуществующие указы. Но он был сущим воплощением справедливости в глазах здешней толпы, а я как был, так и остался тираном и кошмарным сном.

Я не мог бросать им медяки – мне это претило. Я хотел понизить цену на хлеб. Я запретил баронам чеканить свою монету и наживаться на разнице курсов. Запретил под страхом четвертования взвинчивать цену на зерно в неурожайное время. Уже через два года пуд муки стоил полтину серебром. Но халявы из королевских рук мои подданные не получали, поэтому в отношении народа ко мне ничего не изменилось. И все нежно вспоминали моего отца.

Я ненавидел ворье. Не только тех, кто воровал у короны, но и тех, кто грабил по большим дорогам. В Междугорье краденое было дешевле купленного, а воровать было выгоднее, чем работать. И меня это бесило. Мои патрули – живые и мертвые – рыскали по лесам и горам, следя за порядком и наводя смертельный ужас на разбойников, а заодно и на пострадавших. Вора, попавшимся на деле и отправленным добывать руду и уголь или мостить дороги, сочувствовали. Мне – нет.

За два года я четырежды заказывал моему вороному новые копыта, потому что старые стирались до шкуры. И Междугорье меня хорошо узнало, а я хлебнул дурной славы полной ложкой.

Моя страна мечтала от меня избавиться. А я мечтал сделать из нее великую империю.

За эти два года в шкуре моего вороного зазияли три дырки от стрел. В моей шкуре – одна, под правой ключицей. Мертвые гвардейцы нашли лучника – у них отлично выходят такие вещи, ибо нюх на смерть они имеют, как у гончих. Им оказался наемник, ему заплатил очередной вор аристократической крови, меня оценили в золотую десятку. И я повесил того, кто заплатил, а того, кто стрелял, отправил на каторгу, хотя все мои живые советники утверждали, что справедливее сделать наоборот.

А у меня была своя справедливость. Уроды жалели того, кто казался им ближе по духу. Того, кто предпочел заплатить за грязную работу. Сочувствовали трусости и подлости, от которых меня мутило. Потому что если бы имели чуть больше храбрости, то тоже поискали бы, кому заплатить за меня.

А город смотрел на казнь так, будто казнили героя.

Зато я избавил от сожжения в корзине с черными кошками старого некроманта – может быть, последнего в стране, кроме меня. Дед и так еле дышал, его Дар почти иссяк, его сделали калекой на допросах, к тому же он обвинялся в тех же проступках, которые совершал и я. И не в тех масштабах. Остатками Дара он поднял пару трупов, чтобы они помогли ему по хозяйству. Что ж говорить о моей работе?!

Мне хотелось, чтобы старик дожил свой век в покое и тепле. Бедолага так трогательно радовался. Он, похоже, слегка впал в детство, и я не смог его бросить. Я приютил его в столичном дворце, в комнате около библиотеки, и приказал кормить его как следует и топить его жильё, не жалея дров.

Разумеется, ничего, кроме болтовни горожан про свояка, который видит свояка изда-лека, я не ждал. И об этом болтали, само собой. Но расчувствовавшийся старикан сделал мне подарок.

Он не очень хорошо понимал, кто я такой. Называл меня «сынком», что никак не годи-лось при обращении к королю. Но последними крохами Дара он чуял во мне некроманта и поручил мне своего ожидаемого питомца.

Сначала я думал, что дед бредит. Но когда прислушался, разобрал в его шамканье некую логику. Старик где-то достал яйцо виверны. Он надеялся, что она выведется и станет охранять его жильё, но не успел догреть яйцо.

Насколько я помню, виверны вылупляются через три месяца и три дня с момента яйце-кладки.

Так вот, дед не успел, и теперь его заботила судьба создания, которое только собиралось народиться на свет. Яйцо хранилось у него в камине. Оно почти остыло, когда мне его доста-вили. Я не надеялся, что виверночку удастся спасти. Но все-таки переложил яйцо в свой камин.

И к моей, и стариковой радости, через две недели она вылупилась.

Будь у деда яйцо дракона, то в еле теплой золе зародыш, конечно, погиб бы. Но пламя, которое извергают самки виверны, настолько слабее драконьего пламени, что тлеющие угли его вполне заменили. Так что крошка выжила, а я обзавелся роскошным домашним животным.

Пока виверна была маленькая, она еще летать не умела, бегала за мной повсюду, как цыпленок за наседкой. Бегала и топала. Лапочка! Так мы с Оскаром ее и назвали. Он, оказы-вается, раньше виверн видел только издали, а ручных – и вовсе никогда. Редкие звери...

Честное слово, не могу взять в толк, почему это прелестное создание так пугало придвор-ных. Чудушко золотисто-зеленое, с двумя, как у всех виверн, когтистыми орлиными лапами, которые уморительно цеплялись за ковры, с перепончатыми крыльями, шипастыми на сгибах, и длинным хвостом, который тоже кончался шипом. Не ядовитым, кстати, что бы ни болтали невежды. Славные круглые глазки топазного цвета с вертикальным зрачком, как у змеи. И страшно любила, когда ей чешут подбородочек, – они, между прочим, теплокровные, виверны. Теплые и гладкие, как полированный агат, и ласкать их – сплошное удовольствие. Дед в нашей Лапочке души не чаял, все учил меня за ней ухаживать, и мои неумершие друзья тоже отно-сились к малютке очень нежно. А для меня это было редкое наслаждение – живой зверь, еще и такой ласковенький.

К сожалению, старик мирно почил во сне буквально через несколько месяцев. Но он про-жил долгую жизнь, и, надеюсь, ее конец оказался не самым худшим. А виверна хорошо при-жилась. Я кормил ее живыми ягнятами, она быстро росла и вскоре выросла высотой с лошадь, длиной, я думаю, в две лошади. За счет хвоста. Молоденькие вампиры любили играть с ней в догонялки.

Потом я держал ее на цепи в оружейной зале, иногда выводил полетать недалеко от дворца – Лапочка возвращалась по зову Дара. Я все мечтал приучить ее возить меня на себе, но ей, видно, тяжело было летать с грузом, так что пришлось оставить забавную затею.

Оставил ее сторожевым животным: уезжая из столицы, отпускал бегать по дворцу, благо коридоры широкие и высокие. И был совершенно спокоен – охраняла она безупречно.

А обгорелые трупы доедала. Причем умница не трогала моих поднятых мертвецов, которые за ней присматривали. Хотя, может, старые движущиеся трупы просто казались ей невкусными.

Примерно в это время я обзавелся любовницей.

В Розовый Дворец, где жила моя жена, я заезжал редко. Вроде бы надо было ее навещать, но часто – не было сил. Мы с Розамундой переписывались.

Я ей писал: «Возлюбленная государыня, сожалею, что не могу видеть ваше прекрасное лицо. Увы, государственные дела отнимают все мое время. С огорчением и тоской думаю о расстоянии, которое нас разделяет». И она мне отвечала: «Возлюбленный государь и супруг, сожалею о вашей занятости. Провожу все дни в печали, которую скрашивает мне лишь забота о вашем сыне и наследнике. С нетерпением жду новых вестей». И любой, кто прочел бы наши письма, решил бы, что мы жить друг без друга не можем.

Но если я приезжал, Розамунда встречала меня так холодно, что вампиры казались сплошным огнем по сравнению с ней. И говорила:

– Весьма огорчена, что отрываю вас от дел, государь.

– Я хотел бы взглянуть на сына, – говорил я.

И какая-нибудь фрейлина приводила дитя в локонах и расшитом платьице, а дитя смотрело на меня перепуганными глазенками и пряталось за няньку. И мне становилось мутно.

А Розамунда говорила:

– Он немного застенчив, государь.

И я смотрел в ее эльфийское лицо и подышал от тоски. Я совершенно не мог с ней долго разговаривать. И, поскольку меня никто не заставлял делить с ней постель, я уезжал еще до вечера.

Мне было бы невыносимо остаться с Розамундой наедине. Но... она еще болела где-то внутри меня, Розамунда.

Я не мог шлаться по непотребным девкам. Наверное, я не блудлив по натуре. А может, какую-то часть меня просто ужасала мысль, что девка тоже может на меня так посмотреть – с отвращением.

А девка ведь – не Розамунда, думал я. Девку я, наверное, просто убью. А убивать женщин мне претит.

И вот, когда я жил в столице, жизнь шла своим чередом. Я принимал вассалов и посвящал в рыцари. Я возглавлял Советы. Мне представляли дочерей и невест, и я утверждал титулы. Я не охотился и не давал балов – не любил, и не было времени и лишних денег, – но я не мог отменить приемы.

Никто из дворян никогда не пересекал границы моих личных покоев без крайней необходимости и жесткого приказа. Оттуда несло мертвечиной, и еще там жила виверна. А в сумерки там можно было легко встретиться с вампиром, который пришел ко мне в гости. Неизвестно, кого боялись больше. Мой дом уже стал моей крепостью в высшей степени. Камергер постепенно попривык, но недостаточно для моего настоящего удобства. Его люди старались успеть все прибрать во время развода караулов – чтобы, не дай Бог, не встретиться с мертвецами. Я сам одевался, раздевался и обедал в одиночестве. Иногда меня это угнетало, иногда – радовало, но так уж установился постоянный привычный порядок вещей.

Поэтому меня до глубины души поразило появление девушки в моем кабинете. Вечером. В сопровождении мертвого стражника, проинструктированного незваных не убивать, а проводить ко мне.

Беатриса... Да...

Беатриса Розамунду ничем не напоминала. Совсем. Помню ее точно-точно. Как цветная миниатюра на душе – явственная картинка.

Такая пышка. Скорее полноватая, чем худощавая. И очень яркая, как мак, например, или как апельсин, – такое производила впечатление. Глаза черные, лицо цвета топленых сливок с ярким румянцем. Губы как малина после дождя. Мелкие темные кудряшки – не прическа, а просто кудряшки, повсюду – по вискам, по шее, по плечам, по груди... И круглую грудь цвета топленых сливок она открывала очень низко. И маленькие, очень белые, очень острые зубки. С крохотными клычками. Как у ласки. И ямочки на щеках. И взгляд смелый и прямой. Она стояла рядом с моим стражем-трупом и улыбалась. Это потрясающе выглядело.

Она стояла и дышала так, как другие танцуют. Я сказал:

– Вы – графиня Беатриса, если я не путаю. Вам шестнадцать, ваш отец владеет землями за Серебряным Долом, и я не понимаю, что вы здесь делаете.

Тогда она облизнула губы так, чтобы я посмотрел на них. И сказала:

– Я желала видеть вас наедине, ваше величество.

Странно... Если бы она обманывала меня... Если бы у нее оказалась тайная цель, она хотела бы меня убить или подать прошение... Но ведь она думала не об этом. Я видел. Она не боялась. Ее бросало в жар от собственных мыслей.

– Вы хотели меня видеть, Беатриса, – говорю, – затем, о чем я думаю?

Она опять облизнулась, как кошка на сметану. И глаза у нее светились морионами перед свечой. А потом она кивнула, взяла кончик шнура, которым стягивался корсет, и медленно за этот кончик потянула.

Я не дал ей расшнуроваться. Это не имело особого значения в тот момент. Значение имела юбка, а не корсет – и все. Мешала только юбка. Боже милосердный, ножки цвета топленых сливок – в ворохе кружев...

И в первые две минуты я решил, что Беатриса влюблена в меня до беспамятства. Ей ужасно хотелось заполучить все, что только возможно. И я отпустил поводья. Совсем. Как никогда.

Я не думал, как бы не причинить ей боли. Я не думал, что делать дальше. Я вообще ни о чем не думал. Это блаженное бездумье чем-то напоминало выплеск вампирской Силы, если бы не совершенное изнеможение к утру. Будто она пила из меня каким-то своим образом. И мне этого хотелось, как человеку хочется вампирского зова, – хотя Дар и подсказывал, что это небезопасные игры.

Правда, на Дар мне сейчас было плевать. Меня так утомило одиночество, холод и окружающая ненависть, что я вполне созрел рискнуть Даром ради тепла. Обычного живого тепла. Я – человек – ее хотел.

И все.

Чистая как слеза похоть.

Мы ни о чем не разговаривали. Беатриса ушла на рассвете, укутавшись в плащ с капюшоном, но обещала вернуться завтра. Она оставила пятно своей крови на моих простынях, но я не чувствовал ровно ничего похожего на вину.

Я просто содрал простыни и швырнул в угол.

Но целый день думал о Беатрисе.

Мертвец встречал ее, когда шла первая четверть первого часа ночи. Ей нравилось, когда я присылал за ней труп. Я думал, что она упивается собственной храбростью. Так вот, мертвец провожал ее до моей спальни. А в спальне мы пили глентвейн и ласкали друг друга.

Почти до рассвета. Всегда – при свечах.

Беатриса разглядывала меня так жадно, будто хотела съесть глазами. Втянуть в себя. Рубец от вырезанной стрелы, разные лопатки, шрамы на руках – облизывала взглядом, при-

косновениями и языком... В жизни на меня никто так не смотрел. Я ее не понимал, а она не объясняла.

Мы не разговаривали.

Я догадался только, что дело не в короне на моей голове. Мне хотелось бы спросить у нее, почему она тогда так ведет себя, чем я сподобился, если не этим, но у меня все время был занят рот – ее губами, ее грудью, ее пальчиками. Спросить не выходило. У меня не выходило даже спросить ее, почему я не могу оставить ее при себе. Почему она уходит перед рассветом.

Почему, прах побери, я не могу оставить при себе женщину, которую взял себе?!

Но, несмотря на всю эту теплую истому, я никогда не засыпал при Беатрисе. Дар мне не давал, горел во мне, как сигнальный костер: я в сон, как в яму, проваливался, когда она уходила, но при ней заснуть не мог. И потом, днем, думал: почему так?

Какая часть меня ее не принимает? И чем она не нравится Дару? Он легче принял даже Розамунду!

Меня беспокоило ощущение, что я теряю силы. Но я не мог от этого отказаться, как пьяница от кубка.

По-моему, тут ничего общего с любовью. Это что-то среднее между опьянением, безумием и вампирским зовом.

Хотя вампиры казались чем-то чище. Или просто – смерть чище похоти?

Это длилось около месяца. Я запустил дела. У меня не осталось ни сил, ни желания возиться с государственной тягомотиной. Я обленился – или заболел, не знаю.

Бернард порывался разговаривать со мной о делах и семействе Беатрисы, но я его останавливал. Мне не хотелось, не хотелось ничего слышать. Оскар почти не появлялся у меня, я чуть ли не забыл его, а появившись, он сказал:

– Покорнейше прошу простить меня, мой прекрасный государь, я – бесцеремонная нежить, сующая нос в дела живых, что достойно всяческого порицания... Но если бы я не был уверен, что вата очаровательная возлюбленная – смертная женщина, я бы осмелился предположить, что она – суккуб.

Беатриса – мертвец, питающийся похотью? Тварь, не менее, на мой взгляд, гадкая, чем упырь. Я не брал таких на службу.

– Это глупости, Оскар, – сказал я в ответ. – Она – живая. Я ручаюсь.

– Тогда, если бы меня не терзал страх оскорбить вас, дорогой государь, – сказал он, – я крамольно предположил бы, что существуют живые суккубы.

И я чуть не рывкнул на Оскара. На своего товарища, наставника, советника – из-за этой одержимости. Хорошо, что удержался. Но Оскар понял и ушел. Он долго не навещал меня.

А я днем думал о ночи... Не знаю, к чему бы это пришло в конце концов, но, похоже, Дар меня спас. Или не Дар. Но опьянение пошло на убыль.

А может, я насытился Беатрисой. Во всяком случае, я почувствовал себя в силах разговаривать. И, как мне показалось, Беатриса тоже.

– Нам не мешало бы узнать друг друга получше, государь, – сказала она в одну прекрасную ночь.

– Не мешало бы, – говорю.

Она лизнула меня в щеку – длинно, очень по-человечески – и посмотрела на меня втягивающим взглядом. Помолчала, будто не решалась. И спросила:

– Ты правда спал с юношей, Дольф?

– Да, – говорю.

Какой смысл отрицать? С батюшкиной подачи все придворные только об этом и болтали. У нее глаза загорелись.

– И каково это? – спрашивает. И облизывает губы по своему обыкновению. – Расскажи, государь!

– Нет, – говорю.

На секунду она пришла в ярость. На секунду. Но взяла себя в руки. И капризно спросила:

– Тебе жаль доставить мне удовольствие?

Тогда я сел. И она села и закрылась одеялом. И лицо у нее изменилось. Дар снова начал меня жечь, да так, что мне стало почти страшно. А она сказала:

– А ты любишь мертвых, потому что твоего любовника убили у тебя на глазах? Да? Теперь мертвые женщины лучше живых, Дольф?

И тут мне стало холодно. Дико холодно. Грел только Дар. Я еще попытался сделать вид, что ничего не понимаю, но я уже понял. Я хотел солгать себе. Чтобы не лишиться ее.

– Мертвые женщины, – говорю, – очень хороши для переноски тяжестей. А ты слишком прислушиваешься к сплетням.

Она усмехнулась. Потянулась. Сказала:

– Можно тебя попросить... кое о чем?

– Попросить можно, – говорю.

– Подними девицу.

– Ни к чему, – говорю.

Беатриса посмотрела зло. Сказала с нажимом:

– Подними. Дольф, ты можешь сделать что-нибудь для меня? Я хочу посмотреть. Что такого – я просто хочу... посмотреть... Тебе же все равно... Я хотела узнать: мертвые не стыдятся? – и не выдержала, снова облизала губы.

И глаза у нее горели обычным огоньком предвкушения. Она поняла, что я не рвусь ей обещать, и улыбнулась плотоядно, как ласка.

– А, – говорит, – Дольф, ах, какие же они все идиоты. Гвардейцы, конечно. Ты же любишь и мужчин, верно? Это еще интереснее... возьми того, у двери?

Вот в этот момент я понял уже окончательно, сколько я заплатил Той Самой Стороне за последнее время. Не меньше, чем обычно. А может быть, и больше.

Дар внутри меня поднялся, как стена огня. Я едва успел отвернуться. И сказал:

– Беатриса, если хочешь жить, уходи. Чем быстрее, тем лучше.

Наверное, это прозвучало достаточно серьезно. Потому что она собралась вдесятеро быстрее, чем обычно. И убегая, еще успела обернуться и шепнуть:

– Ты это вспомнишь, Дольф.

Помню, бархатная ночь была. Август. Светлячки летали в этом синем, черном, бархатном – теплые звездочки. И луна сошла на три четверти. И из окна пахло сеном.

Клевером и сеном...

И остаток этой бархатной ночи стал для меня такой длинной изощренной пыткой...

Я сидел на постели нагишом; свечи горели, и я видел свое отражение в зеркале, в том самом, через которое ко мне Оскар приходил, если хотел разбудить среди ночи. При свечах почти все люди кажутся красивыми – кроме меня. Я смотрел на себя, и этот двойник казался мне отвратительнее, чем обычно, и именно потому, что...

И никого не было. Ни одной живой души вокруг не было, ни одного мертвого с душой... Мне невероятно хотелось позвать Оскара, сердечного друга, и надрезать для него запястье, но я же не мог ему в глаза смотреть со стыда. И от дикой тоски я окликнул Бернарда.

И когда он вышел из стены, я сказал, что хочу услышать все. Бернард не обидчив, он обрадовался.

– Не так чтобы уж очень-то и много, драгоценный государь, – говорит. – А только не мешает вам знать, что у ней, у Беатрисы, жених готовый – барон Квентин. И помолвка у них уж справлена, аккуратно на Симеона-Лучника. То есть вы, ваше прекрасное величество, до

помолвки как раз с неделю с нею уж забавлялись. А свадьбица у них, стало быть, на Антония-Схимника назначена.

– Здорово, – говорю. – Что-то я не помню этого Квентина.

– Ну что вы, – говорит, – ваше золотое величество! Как же можно не помнить! Молодчик такой, глазки синенькие, как у котеночка, личико чистенькое, в семействе старший, добрый мальчик. Где бы ему с мечом, а он все с молитвенником, смиренный, в Беатрису уж года три влюбившись. Еще ваш папенька бал давал, так Квентин все ее сахарненькую ручку держал да в глазки заглядывал. У Беатрисы-то поклонников – видимо-невидимо, оно и понятно: она барышня из себя сплошная карамелька, да только ее батюшка ей самого благонаправного мальчика во всей столице изволили выбрать.

– Ясно, – говорю.

– С дуэней, – говорит, – только батюшка ошибся. Известная шельма. Она, стало быть, Беатрису по ночам и выпускает, а к утру впускает – и все через сад да лакейским ходом. Хитры бестии: никто из домашних по сей день не знает, где барышня по ночам гостит и что потеряла. Батюшка-то, почитай, до сих пор думает, что Беатриса чище голубки, святей целованного клинка...

– Спасибо, – говорю. – Я примерно так и думал.

После разговора меня как будто немного отпустило, и я лег спать. А постель пахла Беатрисой – медом, корицей... И мне снилась ее грудь в отсветах свечей и кудряшки, кудряшки...

А потом я проснулся. И меня вырвало.

Потом я работал, как в поле. Я приводил в порядок дела, я поднял все заброшенные документы, я собрал отложенный Совет. Я чуть ли не сутки подряд проверял отчеты о доходах из провинций. И съездил в приграничный гарнизон посмотреть на рекрутов.

Все потихоньку налаживалось. Мне опять снились кошмары, но я уже знал, что это вскоре пройдет. Хотя Беатриса успела меня приучить к потворству некоторым вещам...

Прежний аскетизм тяжело возвращался. И слишком хотелось смотреть на красивые лица. И слишком много думалось... Как в детстве, на башне, с трактатом в подробных гравюрах...

Правда, собственная слабость, как всегда, вызывала отвращение и злость на себя. А злость, как всегда, шла Дару на пользу. Я мало-помалу выздоравливал.

Примерно через неделю после... ну, после разговора с Бернардом я вечером собирался на кладбище на предмет свежих гвардейцев. Идиотов, убивающих друг друга на поединках в столице и предместьях, полно, а запрет Святого Ордена на кремацию вообще все упрощает. Я взял двух мертвецов – обычную свиту по ночам – и пошел было, но просто-таки в дверях приемной наткнулся на Оскара.

Я ему ужасно обрадовался. Я думал, что Оскар еще обижен, но при виде него у меня отлегло от сердца. Я сказал:

– Оскар, дружище, доброй ночи! Хотите выпить? Вина, крови – и поговорим?

А вампир чуть нахмурился и встряхнул головой, и молвил с загадочной миной:

– Мой дорогой государь, если вы позволите, я предпочел бы беседу, хотя, безусловно, мне очень льстит ваше приглашение.

– Что случилось? – спрашиваю.

– Это, без малейшего сомнения, не мое дело, – отвечает, – но если вы будете так беспрецедентно милостивы к вашему ничтожному слуге с его вечными пустяками и глупостями...

Я губу прокусил до крови, и Оскар на эту капельку так заинтересовано посмотрел, что я чуть не прыснул. Я понял, что он меня давно простил, просто по обыкновению держит фасон.

– Я дам вам крови, Князь, – говорю. – Больше. Обязательно. И говорите без церемоний. Я в полном порядке.

Оскар улыбнулся.

– С вашего милосерднейшего позволения, – говорит, – нынче ночью я желал бы присоединиться к вашей свите, несмотря на некоторую неприязнь к несвежему мясу. Дело в том, мой дорогой государь, что у кладбища вас ожидают молодые люди, вооруженные серебряным оружием. Я совершенно случайно увидел их, проходя мимо.

– Меня? – говорю. – Вот как...

– Они, – продолжает, – безусловно, отлично знают, что некромант в конце концов появится на кладбище. И они, как я полагаю, намерены нарушить данную вам присягу. Мне думается, что два трупа в этом случае – слабая защита. В компании, ожидающей вас, достаточно бойцов, чтобы отвлечь мертвых от вашей особы, а внезапность лишит вас возможности применить Дар. Полагаю также, что они знают – трупы лягут, как только вы закроете глаза.

– Оскар, – говорю, – серебро – это нехорошо. Они могут ранить и вас.

– Без сомнения, – говорит, – я снова раздражаю вас, говоря необдуманно, и напрашиваюсь, как провинциальный барончик – к своему сеньору, но мне на миг показалось, что со мной вам будет несколько проще выяснить у этих очаровательных юношей, что побудило их на измену долгу.

И я понял, что он прав. Как обычно.

Я не стал брать еще гвардейцев. В бою Оскар стоил бы десятерых мертвых и двух десятков живых – если в его присутствии дело дойдет до боя. Я пошел той дорогой, которой ходил всегда, а Оскар растекся длинной полосой тумана. Мы хотели застать их врасплох – что и вышло наилучшим образом.

Они рассчитали хорошо, наверное, со священником советовались: нацеленный на мертвое, я легко мог пренебречь живым и подойти достаточно близко. К тому же сложно переключиться с ощущения подъема трупов на ощущение прекращения жизни. Три-четыре минуты в драке иногда все решают. Очень возможно, что тогда меня убили бы.

Но они не знали, что со мной будет вампир, к тому же такой старый и сильный, как Оскар. Он позвал в полный голос, чуть только они дернулись ко мне навстречу. Зов обрушился волной – даже у меня сладко закружилась голова и подкосились ноги, а уж у этих простаков!..

Они смотрели на нас, как птички – на змею. Детскими перепуганными глазами. Не в силах поднять оружие. Сидя и полулежа на траве. Я взял у мертвого гвардейца факел, чтобы рассмотреть их получше.

И рассмотрел.

Это были рыцари Квентина и он сам. Чистенький дурачок с синими глазами и молитвенником. Мертвец выбил у него меч, а я врезал ему по физиономии, чтобы привести в чувство.

Он вскочил и прижался спиной к кладбищенской ограде. Он не смотрел на юных вампиров Оскара, которые вышли из тени памятников и встали вокруг гвардейским оцеплением, он смотрел на меня.

Я ждал, что он скажет, – и Квентин не заставил себя долго ждать:

– Вы, государь, – выдохнул он, – позор Междугорья, позор своего рода, позор нашей короны! И если вам служат Те Самые, то на моей стороне – Господь!

– Да, – говорю, – я знаю. А что-нибудь поновее и поконкретнее?

– Вы превратили страну в ад! – говорит. – Вы стервятник! И вы – развратный монстр! Вам мало гниющей плоти, Дольф, вы посягнули на честь невинной девушки! За это мало смерти.

Его компания восхищенно внимала и смотрела на него, как на хоругвь Святого Ордена. А я сказал:

– Квентин, твоя невеста – девка. Я не отнимал, она отдала.

Он дернулся ко мне, а мертвецы швырнули его обратно.

– Не смейте! – выкрикнул он. – Вы лжете, подло лжете! Какая женщина отдаст вам добродетель по доброй воле?! Вы – урод, от вас разит дохлятиной, ваша свита – твари Сумерек! В вас нет ничего человеческого! На вас не польстится и старая солдатская шлюха!

Я пожал плечами.

– У меня не было солдатских шлюх, – говорю. – Но твоя невеста польстилась. И именно на это – на уродство, на дохлятину и на тварей из Сумерек. Потому что ей это нравится. Подумай, чью честь ты пытаешься защитить.

У него слезы брызнули от злости и бессилия. Мне было жаль его, правда жаль. Я знал, что опять ничего не выйдет. И знал, что он не доживет до утра. Я тоже чувствовал бессилие и злость. А он кричал:

– Все это ложь! – и задышался от ярости. – Вы – подлец! Вы напрасно пытаетесь оправдаться!

– Да я не оправдываюсь, – сказал я. – Я хочу спасти тебя.

Но он не расслышал – или у него это в голове не умещалось.

– Ты себя не спасешь! – И все. – Тебя все ненавидят! Ты – ядовитая гадина, которую пора раздавить!

Я зря его слушал. Если бы клан Оскара не следил за пленными, я получил бы во время Квентинова монолога кинжал под ребро от его рыцаря. Маленький вампир удар перехватил – человеческой реакции с реакцией неумерших не сравниться. А владелец кинжала сжал кулаки от досады.

– Возмездие тебя все равно не минует! – заорал Квентин. – Я найду способ...

Не найдешь, подумал я. Я понимаю все. Я понимаю, что ты не виноват. Что тебе не повезло с невестой. Что тебя отучили слушать и думать. Что ты не можешь поверить некроманту. Что ты, в сущности, очень славный мальчик. Я понимаю.

Но это не спасет тебя. И не избавит меня от необходимости...

Ты хотел ударить меня в спину. Я пользуюсь правом сильного. Я – именно то, что ты говорил.

Единственное, что я сделал для них, – это прибавил скорость удара. Дар прошел их, как молния – воду. Одновременно. Надеюсь, они не успели ощутить боль и осознать смерть.

А потом я их поднял.

Их было девять. Еще теплые трупы, которые встали прекрасно. И больше им никогда не удавалось нарушить присягу. Вплоть до того самого дня, когда я уволил их со службы за слишком далеко зашедшее разложение.

Так что в ту ночь я все-таки сделал то, что собирался. А Оскар потом сказал мне:

– Ваше бесценное величество, мой дорогой государь, если вы позволите твари из Сумерек дать совет, которому вы, безусловно, не обязаны следовать, – не стоит долго беседовать с врагом перед тем, как убить его. Такие беседы, благороднейший государь, конечно, делают вам честь, но ваш покорный слуга чрезвычайно опасается, что во время подобного разговора враг особенно подлый может выбрать момент для предательского удара.

И он снова был прав, зануда!

А следующим утром я послал за Беатрисой гвардейцев.

Обычно я щадил нервы своих подданных, даже если эти подданные подозревались в чем-нибудь нехорошем, и отправлял за ними живых. Но за Беатрисой я послал мертвых.

Конкретно – бывшую Квентинову свиту. Я знал, что за этим последует, но не мог отомстить иначе.

Ее привели под конвоем, а ее родня и родичи Квентина прибежали следом. Сами. В ужасе, скорби, злобе – весь этот список. И отец Беатрисы выкрикнул с порога приемной:

– Вы не человек, а чудовище, государь! У вас нет сердца!

– Спасибо, граф, – говорю, – я знаю.

Потом я выслушал, как меня проклинали их матери – сначала матушка Квентина, а потом – Беатрисина. Бессмысленно перебивать женщин, которые решили выговориться. И бессмысленно вырывать кусок изо рта Тех Самых. Так что я дослушал до конца. И двор – тоже.

А когда они перестали орать, я сказал:

– Господа, довожу до вашего сведения, что эта девка своей ложью заставила тех, кем были раньше эти трупы, предать корону и пойти на подлость. И они лишились жизни и посмертного покоя из-за того, что поверили ей. Фактически она отправила их на смерть.

– Это неправда! – вякнул ее батюшка.

– Это правда, – говорю. – Девка не любила своего жениха, пока он был жив. Если я разобрался в твоих пристрастиях, в таком виде он должен нравится тебе больше, Беатриса?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.